МИЯ ПАЛМ

3



Правило номер ТРИ

Третье правило он придумал для себя. И нарушил первым.

Мия Палм
Правило номер три

https://litres.ru/74824364
SelfPub; 2026

Аннотация

Кириллу двадцать, и у него три проблемы: пустой кошелёк, младшая сестра, которой нужна операция, и подпольные бои, о которых никто не должен узнать. Поэтому, когда Андрей Белов, владелец крупнейшей строительной компании города, предлагает ему работу телохранителя, он соглашается не глядя.

А зря. Охранять придётся дочь Белова Соню — избалованную блогершу с семью отрепетированными улыбками, которая месяц назад высмеяла его на весь университет за то, что он уснул на лекции. Она лезет в окна, гоняет его по торговым центрам, представляет всем как свою «нянечку» и объявляет войну. Кирилл отвечает правилами. Первое: всегда в зоне видимости. Второе: «стоп» значит «стоп».

Третье правило Кирилл держит при себе. Но за Соней уже следит серая машина. И скоро ему придётся решать, что важнее: работа или она.

Содержание

Глава 1. Кирилл 4
Глава 2. Соня 13
Глава 3. Кирилл 21
Глава 4. Соня 30
Глава 5. Кирилл 39
Глава 6. Соня 54
Глава 7. Кирилл 64
Глава 8. Соня 77
Глава 9. Кирилл 94
Г 108
Конец ознакомительного фрагмента. 109

Мия Палм
Правило номер три

Глава 1. Кирилл

На подпольных боях три правила: не смотри в зал, не считай деньги раньше времени и не жалей того, кто напротив.

К концу первого раунда я нарушил все три.

В зал я посмотрел, потому что кто-то в первом ряду лузгал семечки так громко, будто на спор. Деньги я считал ещё в раздевалке: пятнадцать тысяч за победу, минус три Стасу за то, что пустил. Двенадцать. Варе на приём к новому врачу нужно восемнадцать. Шесть тысяч разницы болели сильнее, чем бровь, по которой мне только что прилетело.

А соперника я пожалел, потому что ему было лет сорок. Руки грузчика, живот человека, который давно не тренировался, и глаза того, кто пришёл за тем же, что и я.

— Работай, студент! — орали сзади. — Я на тебя поставил!

Ставили на всё: на раунды, на кровь, на то, кто первым упадёт. Склад на промзоне пах машинным маслом, пивом и мокрыми куртками. Ринга не было — была сетка, натянутая на столбы, старые маты на полу и люди вокруг. Прижмёшься к сетке — с той стороны тебя же и подтолкнут обратно.

Мужик напротив — его объявили Бульдогом, и это было самое честное, что я слышал за вечер, — снова пошёл вперёд. Широко, с замахом, всей массой. Такой удар видно за неделю. Я ушёл под руку, коротко пробил в корпус и отступил. Он охнул, но устоял.

Мой тренер Петрович говорит, что бокс — это шахматы, в которых за ошибку бьют по лицу. Петрович не знает, что я здесь. Если узнает, никаких шахмат у меня больше не будет: ни сборов, ни разряда, ни стипендии. Будет строчка в приказе об отчислении и билет на автобус домой.

Поэтому я хожу сюда не за победой. Я хожу за другим: быстро заработать, выйти целым и не попасть ни в один телефон.

Второй раунд Бульдог начал злее. Попал мне в плечо, потом в ухо — в голове зазвенело. Зал взревел. Я дождался его коронного замаха, нырнул и пробил двойку. Не в полную силу. Ровно настолько, чтобы у него подкосились ноги.

Он сел на маты. Не упал — сел, как садятся на лавочку, когда очень устали. Посмотрел на меня снизу и вдруг усмехнулся.

— Жалеешь, — сказал он одними губами.

Я протянул ему руку. В зале засвистели: здесь не любят, когда бой заканчивается без крови.

И вот тогда я заметил — мужчину в пальто. В пальто, которое стоило больше, чем весь этот склад. Седина на висках. Руки в карманах. Он смотрелся так же неуместно, как рояль

в гараже.

Он стоял у стены, чуть в стороне от толпы, и смотрел не на Бульдога и не на маты. Он смотрел на меня.

Рядом с ним подпрыгивал парень лет двадцати в куртке водителя и горячо тараторил ему на ухо. Мужчина в пальто не отвечал.

Я не люблю, когда на меня так смотрят. Так смотрят, когда прицениваются.

Драка началась, когда я уже снимал бинты.

Двое из тех, кто ставил на Бульдога, решили, что их обманули. Сначала они орали на Стаса. Потом один толкнул другого, тот задел третьего, и через десять секунд половина склада превратилась в то, что Тёма, мой сосед по общаге, называет «свадьбой в деревне».

Я бы ушёл. Честное слово, ушёл бы. Это не моя драка, и за неё не платят.

Но один из крикунов, здоровый лысый тип с красной шеей, схватил со стола пустую бутылку. И пошёл с ней не к Стасу, а туда, где стоял человек в пальто. Наверное, решил, что раз богатый — значит, виноват. Или ему просто не понравилось пальто.

Водитель отшатнулся. Мужчина не сдвинулся с места.

Я оказался между ними раньше, чем успел подумать, что это плохая идея.

— Сядь, — сказал я лысому.

Он посмотрел на меня так, будто я заговорил по-китайски,

и замахнулся. Бутылкой люди почему-то всегда бьют сверху, как топором. Я перехватил запястье, повернул — несильно, так, как учат на первом занятии по самообороне, — и бутылку я уже держал. А лысый — на коленях.

— Сядь, — повторил я. — Ты уже проиграл сегодня. Не надо проигрывать два раза.

Он сел. Прямо на бетон. Вокруг стало тише: так всегда бывает, когда кто-то первым перестаёт кричать.

Я поставил бутылку на стол и обернулся. Мужчина в пальто стоял всё так же, руки в карманах.

— Спасибо, — сказал он. Голос спокойный, будто ничего не случилось. Будто в него бутылками целятся каждый день.

— Не за что. Вам здесь лучше не стоять.

— Я заметил.

Он чуть улыбнулся, кивнул водителю, и они ушли — не торопясь, сквозь расступившуюся толпу.

Стас отсчитал мне деньги в подсобке, бормоча, что я испортил шоу.

— Народ хочет зрелища, Гром. А ты его рассадил, как в детском саду. Ещё раз кого-нибудь пожалеешь — урежу бабло.

— Двенадцать, — сказал я.

— Чего?

— Ты дал одиннадцать.

Он вздохнул и вытащил из кармана ещё тысячу. Стас обсчитывает всех. Это у него вместо зарядки.

***

Последний автобус ушёл без меня, и до общаги я сорок минут шёл пешком. Октябрь в нашем городе — это когда днём ещё тепло, а ночью ветер забирается под куртку и пересчитывает рёбра. Бровь саднило. Ухо горело. Двенадцать тысяч лежали во внутреннем кармане, и я каждые пять минут проверял их рукой.

В комнате горел свет. Тёма сидел на кровати в одних трусах и ел пельмени прямо из кастрюли.

Тёма — это метр восемьдесят восемь рыжего футболиста. Плечи, которыми он на поле сносит защитников, вихры, которых не берёт ни одна расчёска, и веснушки на носу, которые он называет загаром. Самый большой человек на нашем этаже — и самый мягкий. Пауков он выносит из комнаты в стакане, а на «Хатико» плакал так, что пришлось стучать соседям.

— О, — сказал он. — Явился. Красавец. Кто тебе бровь подправил, кот?

— Бульдог.

— Логично. — Он протянул мне кастрюлю. — Будешь? Я варил на двоих, но потом передумал и стал есть на одного.

Я съел четыре пельменя, лёг, не раздеваясь, и открыл телефон. Сообщение от мамы, отправленное в десять вечера: «Кирюш, были у врача. Сказал, нужно ещё обследование, а потом решать про операцию. Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Ты кушаешь?»

«Мы что-нибудь придумаем» на мамином языке означало «я не знаю, что делать». Я выучил этот перевод, когда мне было девять и отец ушёл за сигаретами на всю оставшуюся жизнь.

Следом пришло голосовое от Вари. Двенадцать секунд.

«Кир, привет. Мне сделали такой снимок, где весь позвоночник видно, он похож на букву „эс“. Прикольно, да? Только мама плакала в коридоре, но она думает, что я не видела. Пока. Ты лучший».

Я переслушал его три раза. Потом снова надел куртку и пошёл к круглосуточному банкомату за углом общаги. Было два ночи. Я перевёл маме двенадцать тысяч, сунул чек в карман и написал: «Кушаю. Всё будет нормально».

Соврал я только в первом слове.

***

Будильник зазвонил в шесть. Пробежки — единственное, что Петрович проверяет у меня по приложению, поэтому я бегаю даже с гудящей головой. Тёма спал в обнимку с пустой кастрюлей.

У входа в общагу стояла чёрная машина. Не просто чёрная — из тех, что выглядят так, будто их моют каждые полчаса. Рядом с нашим крыльцом и облупленной табличкой «Общежитие № 4» она смотрелась как инопланетный корабль.

Задняя дверь открылась.

— Кирилл Громов, — сказал вчерашний мужчина в пальто. Не спросил — сообщил. — Садитесь. Подвезу, куда вы

там бежите.

— Я бегу по кругу.

— Тогда сделайте перерыв.

Я мог бы уйти. Наверное, должен был. Человек, который после одного вечера на подпольном бою знает твою фамилию, — это человек, от которого стоит держаться подальше.

Но он знал мою фамилию. А значит, мог узнать и всё остальное. Например, где я учусь и кому позвонить, чтобы меня оттуда выгнали.

Я сел.

Внутри пахло кожей и кофе. За рулём сидел вчерашний водитель. Он подмигнул мне в зеркало, как старому знакомому.

— Андрей Белов. — Мужчина протянул руку. — Вам это имя, наверное, ничего не говорит.

Оно мне говорило. Его фамилия висела на половине строительных заборов в городе: «Белстрой. Строим ваше завтра». Я ни разу не видел, чтобы это завтра наступило хоть для кого-то из моих знакомых.

— Немного, — сказал я.

— Тогда коротко. Мне нужен человек. Охрана для члена семьи. Не вместо моей службы безопасности, а в дополнение к ней. Кто-то молодой, кто не бросается в глаза в университете и на вечеринках. Кто-то, кто сначала думает, а потом бьёт. Вчера вы три раза могли покалечить людей и ни разу этого не сделали.

— Я вчера много чего не сделал.

— Я видел, — сказал Белов. — Именно поэтому я здесь.

Он назвал сумму. Я переспросил. Он повторил.

Это было больше, чем мама получала за три месяца. Это была операция Вари — не через полтора года по квоте, а этой весной.

— Почему я? — спросил я. — Таких, как я, у вас полгорода. С лицензией и опытом.

— Полгорода, — согласился Белов. — И все уволились. Последний продержался одиннадцать дней. — Он помолчал. — Объект сложный. Будет против. Будет проверять вас на прочность. Мне нужен кто-то, кого невозможно вывести из себя.

— А если я откажусь?

Он посмотрел в окно, на облупленное крыльцо.

— Тогда я пожелаю вам удачи. И никому не расскажу, где мы познакомились. Мне это ни к чему. — Он снова повернулся ко мне. — Это не шантаж, Кирилл. Это предложение.

Я подумал о Варином голосовом. О букве «эс». О маме, которая плачет в коридоре, думая, что её никто не видит.

— Когда начинать?

— Завтра. В восемь вас встретит начальник моей охраны, Геннадий Петрович. Он всё объяснит.

— Ещё один Петрович, — сказал я.

— Простите?

— Ничего. Я согласен.

Мы пожали руки. Водитель снова подмигнул мне в зеркало.

Два круга вокруг стадиона я пробежал, прежде чем понял: не задал ни одного правильного вопроса. Спросил про деньги, про график и про то, нужен ли костюм.

Но не спросил главного: кого буду охранять?!

Я бежал третий круг и думал о том, что этой весной Варя наконец перестанет быть буквой «эс».

Глава 2. Соня

Папина машина вернулась в два ночи.

Я не спала. Я никогда не сплю, когда дописываю текст для Евы, а в ту субботу как раз дописывала. Свет фар прошёл по потолку моей комнаты, как прожектор, и я по привычке посмотрела на часы. Два ноль семь. Папа в последнее время возвращался поздно, но в субботу — никогда. В субботу у него теннис, баня с дядей Витей и сон до десяти.

Я вышла на лестницу. Босиком, в розовом свитере. Стеклянные ступеньки были холодные.

Он стоял в прихожей, не снимая пальто. И от пальто пахло не офисом и не рестораном. Машинным маслом. Пивом. Чем-то мокрым и чужим, как из подъезда, где пьют подростки.

— Ты где был? — спросила я сверху.

Он поднял голову. Он не ожидал меня увидеть. На секунду у него было лицо человека, которого поймали за чем-то хорошим. Не плохим — хорошим. Я это запомнила, потому что такое лицо я видела у него один раз в жизни: когда мне было семь и он прятал за спиной мой первый фотоаппарат.

— Смотрел на одного человека, — сказал он. — Иди спать, Соня.

И ушёл в кабинет. А я записала в заметки: «2:07. Масло, пиво. Смотрел на одного человека». Без всякой причины.

Утром я спустилась к завтраку, папа уже сидел на кухне с кофе и выглядел так, будто наконец выспался. Хотя не спал вообще.

***

— Три, два, один… Всем привет, это Соня, и сегодня мы выясняем, почему кофе в самом дорогом кафе города стоит как в Париже, а на вкус как в армии.

Лика держит телефон, я улыбаюсь в камеру. Улыбка номер четыре: «я знаю то, чего не знаете вы». Всего их у меня семь. Я репетировала их перед зеркалом в девятом классе, пока остальные учили формулы.

Ролик получается смешным. Мои ролики всегда смешные: сорок секунд, острая подводка, ядовитый финал. Люди любят, когда кто-то вслух говорит то, что они думают про себя. А ещё больше любят, когда это говорит девочка на дорогой машине: можно смеяться вместе с ней и одновременно её ненавидеть. Два удовольствия по цене одного.

— Огонь, — говорит Лика, пересматривая. — Только ты в конце моргнула.

— Это задумка.

— Конечно. — Она подкрашивает губы, глядя в телефон, как в зеркало. — Кстати, тот спортсмен из твоего ролика про стипендиатов не жаловался в деканат? Тот, который спал.

Я помню только затылок, стрижку под ноль и куртку, сложенную вместо подушки. И ещё то, как он вздрогнул, когда препод стукнул по кафедре. Вздрогнул и сразу выпрямился,

будто и не спал. Этот кусок я вырезала. Он портил смешное.

— Пусть жалуется, — говорю я. — Спать надо дома.

Произнося это, я по какой-то причине смотрю в окно, а не на Лику.

***

В машине я включаю музыку погромче и открываю почту. Не ту, где пишут бренды, а другую. О ней не знает никто.

«Ева, добрый вечер. Материал про дом на Заречной принят. Но нам нужно имя подрядчика — без него это история про трещины, а не про людей, которые их сделали. Копайте дальше. «Редакция „Сквозняка“».

Ева Ткач. Я придумала это имя в одиннадцать лет, для дневника. Тогда мне казалось, что у девочки по имени Ева Ткач мама никогда не уедет.

У Евы два опубликованных расследования и ни одной фотографии. Еву цитируют на нашем же факультете, и преподавательница по журналистике как-то сказала, что мечтает познакомиться с автором. Автор в это время сидела на третьем ряду и рисовала сердечки на полях тетради, потому что так выглядит Соня Белова.

И я улыбаюсь. Эта улыбка без номера. Её никто не видел.

***

Наш дом строила папина фирма, и это заметно. В нём всё идеальное: панорамные окна, тёплые полы, лестница из стекла, по которой страшно ходить босиком. И он очень тихий. Настолько тихий, что летом я иногда открываю окна, чтобы

слышать хотя бы соседскую собаку.

— Я дома, — говорю я в прихожей.

Дом не отвечает. Он вообще неразговорчивый.

На холодильнике записка от Нины Петровны, нашей домработницы: «Сонечка, суп в синей кастрюле, котлеты разогрей со сметаной. Папа сказал, что будет к ужину!!!»

Три восклицательных знака. Нина Петровна радуется за меня больше, чем я сама. Я давно разучилась радоваться заранее. Папино «буду к ужину» — это как прогноз погоды: что-то среднее между обещанием и надеждой.

Я поднимаюсь к себе, смываю стрелки, надеваю старый розовый свитер, в котором можно спрятаться целиком, и сажусь с ноутбуком на подоконник. Имя подрядчика. В документах жильцов — одно ООО с дурацким названием «АльфаМонолит», закрытое год назад. Директор — какой-то человек из деревни, который по телефону поклялся, что никогда ничего не строил, а паспорт однажды «дал добрым людям».

Добрые люди. Я записываю эту фразу и подчёркиваю дважды.

Телефон вибрирует. Мама. Она пишет мне раз в месяц, всегда примерно в одно и то же время, как будто у неё стоит напоминание. «Солнышко, как ты? Тут такая осень, тебе бы понравилось». И фотография набережной в городе, где я никогда не была.

Я пишу «Всё супер!» и ставлю три сердечка. На два боль-

ше, чем она. Это тоже задумка.

***

Папа приезжает в девять сорок. Всего на два часа позже ужина. По его меркам это почти пунктуально. Я слышу машину и спускаюсь по стеклянной лестнице быстрее, чем следовало бы девушке, которой всё равно.

Мы ужинаем на кухне, как нормальные люди. Разогретые котлеты, сметана, папа в рубашке с расстёгнутым воротником. Телефон он кладёт на стол экраном вниз. Раньше он так не делал. Я замечаю. Замечать — моя работа.

— Как учёба? — спрашивает он.

У меня есть ответ. У меня есть очень большой ответ: про Еву, про дом на Заречной, про старушку с пятого этажа, которая спит в куртке, потому что через трещину в стене дует. Я открываю рот.

— Нормально, — говорю я. — Скучно.

Папа кивает, будто именно такого ответа и ждал. Потом откладывает вилку, и я понимаю, что ужин был не ужином. Ужин был подводкой.

— Соня. С завтрашнего дня у тебя будет новый сопровождающий.

Сопровождающий. Как будто я детский автобус на экскурсию.

— Четвёртый, — говорю я. — Ты ведь помнишь, что четвёртый? Третий продержался одиннадцать дней. Это рекорд, если что.

— Этот не уйдёт.

— Все так говорили.

— Этот — не уйдёт, — повторяет он, и в голосе появляется то, что мама когда-то называла «режим переговоров». В этом режиме он не спорит. Он просто повторяет, пока мир не согласится.

— Зачем? — спрашиваю я. — У тебя и так Геннадий с его цепными псами. Кто меня вообще может тронуть? Я блогер, а не дипломат.

Он смотрит на меня дольше, чем обычно. На скуле дёргается мышца. У него так бывает, когда он что-то решает не говорить.

— Сейчас неспокойно, — говорит он. — Рабочие моменты. Тебе не нужно вникать.

Хороший журналист на моём месте спросил бы, какие именно моменты. Хороший журналист заметил бы телефон экраном вниз и мышцу на скуле и надавил.

Но папа сидит напротив меня двадцать минут. Уже двадцать минут, подряд. И если я надавлю, он встанет и уйдёт в кабинет.

Поэтому я не давлю. Я говорю:

— Ладно. А он хотя бы симпатичный?

Папа впервые за вечер улыбается.

— Он боксёр.

— Это не ответ.

— Это именно ответ, — говорит он. И в эту секунду те-

лефон на столе жужжит.

Он переворачивает его. Я успеваю увидеть на экране «Витя». Дядя Витя, папин партнёр, который на каждый мой день рождения дарит плюшевого медведя, хотя мне давно не девять.

— Мне нужно ответить, — говорит папа и уже встаёт. — Доедай без меня, хорошо?

Дверь кабинета закрывается. Тихо, потому что в этом доме всё закрывается тихо. Я доедаю. Потом мою за собой тарелку и за ним тоже, хотя утром Нина Петровна всё равно перемоет.

***

В половине первого ночи я пишу Лике:

«У меня с завтрашнего дня новая нянька. Боксёр».

Она отвечает мгновенно, потому что Лика не спит никогда:

«Симпатичный??? Скинь фотку!!»

«Не знаю. Папа сказал, что он не уйдёт».

«Ха-ха-ха. Спорим, дольше недели не продержится?»

«На что?»

Пауза. Три точки прыгают на экране.

«Если продержится больше недели — ты целый день ходишь без косметики. Со своими веснушками. И снимаешь ролик… хи-хи»

Я смотрю на себя в тёмном окне. Без стрелок, в розовом свитере, с веснушками на носу, которые не видел ни один

мой подписчик. Девочка в отражении выглядит на пятнадцать.

«Договорились, — пишу я. — Ставлю на четыре дня. Максимум пять».

Из кабинета всё ещё доносится папин голос. Он не кричит, он никогда не кричит. Но одну фразу я всё-таки разбираю, потому что он повторяет её дважды:

— Дочь сюда не вмешивай. Слышишь, Витя? Дочь не вмешивай.

Я записываю её в заметки рядом с «добрыми людьми». Просто по привычке. Я записываю всё, что не понимаю.

Потом выключаю свет и долго слушаю, как в идеальном доме со стеклянной лестницей ничего не происходит.

Глава 3. Кирилл

Я спал.

Это было в начале сентября, на общей лекции по истории, куда сгоняют все факультеты сразу, потому что аудитория большая, а преподаватель один. Я пришёл туда прямо со склада. С десяти вечера до шести утра мы с двумя мужиками из соседней общаги разгружали фуры с плиткой, и за ночь я перетаскал, по моим подсчётам, полторы тонны чьих-то будущих ванных. Платили наличными. Варе как раз нужно было на анализы.

Я положил бомбер на стол и решил, что закрою глаза на минуту. Петрович говорит, что минута сна перед боем — как глоток воды. А лекция по истории — это почти бой. С собой.

Проснулся я от удара. Преподаватель стукнул ладонью по кафедре, и тело сработало раньше головы: я выпрямился, руки сами пошли к лицу, в защиту. Петрович бы похвалил. Аудитория засмеялась. А в проходе, в трёх рядах от меня, стояла девушка в пальто цвета кофе с молоком. Спиной ко мне. И опускала телефон.

Лица я не видел. Видел только волосы, медовые, длинные, с двумя тонкими косичками у висков. И подумал: ну и пусть. Пусть снимает. Пусть все видят, как спит человек, который за ночь перенёс полторы тонны плитки. Не жалко.

Через неделю Тёма сунул мне под нос телефон. И я узнал

косички. И название ролика: «Спорт за ваш счёт».

Вот тогда мне стало жалко. Не себя. Плитку.

***

Геннадий Петрович смотрел на меня так, как смотрят на пакет молока с истекающим сроком. Вроде ещё можно, но лучше не рисковать.

Ему было за сорок, и он был построен из прямых углов: квадратные плечи, квадратная челюсть, квадратная стрижка. Даже часы у него были квадратные. Мы сидели в комнате охраны в цокольном этаже дома Белова: шесть мониторов, кофемашина и календарь с рыбалкой за прошлый год.

— Сколько тебе? — спросил он.

— Двадцать.

— Служил?

— Учусь.

— Опыт в охране?

— Три лета охранял младшую сестру от пацанов из соседнего двора.

Он не улыбнулся. Я и не рассчитывал.

— Слушай меня, студент. — Геннадий Петрович наклонился вперёд. — Ты здесь не потому, что я так решил. Ты здесь, потому что Андрей Викторович насмотрелся кино про телохранителей. Я двадцать лет в безопасности. Люди с лицензией и опытом уходили отсюда с нервным тиком. Ты продержишься дня три.

— Ставки уже принимаются? — спросил я.

— Что?

— Ничего. Слушаю.

Он говорил долго. Про маршруты, которые нужно менять. Про телефон, который никогда нельзя выключать. Про то, что каждые два часа я пишу ему одно слово: «чисто». Выдал мне телефон с одним контактом и тревожной кнопкой. Потом подвинул тонкую папку.

— Объект. Изучишь дома.

На папке было написано одно слово: «Софья». Я открыл. На первой странице была фотография девочки лет двенадцати: два банта, недовольно сжатые губы, школьная форма.

— У вас посвежее нет?

— Свежих у неё в интернете два миллиона, — сказал Геннадий Петрович с глубоким отвращением. — Увидишь через пять минут. Она спускается в восемь сорок. Всегда в восемь сорок. Это единственное, в чём она пунктуальна.

Я закрыл папку. Надо было листать дальше. Там наверняка были название факультета, курс и ник в соцсетях. Но у меня есть привычка не читать про соперника до боя. Петрович, настоящий, мой, говорит, что так у меня свежая голова. В этот раз свежая голова сыграла против меня.

***

В восемь тридцать семь я стоял в холле у стеклянной лестницы. Холл был размером с наш спортзал, только с картинами вместо шведской стенки. Пахло кофе и чем-то цветочным. Из кухни выглянула пожилая женщина в фартуке, об-

следовала меня с ног до головы и сказала:

— Худенький. Пирожок с капустой будешь?

Я не худенький. Я в среднем весе. Но пирожок взял. Два.

В восемь сорок наверху хлопнула дверь.

Сначала я увидел ноги. Белые кроссовки на высокой подошве простучали по стеклянным ступеням, как по сцене. Потом пальто цвета кофе с молоком. Потом волосы, длинные, медовые, с двумя тонкими косичками у висков. Потом лицо.

И вот лицо я уже видел. Месяц назад. На экране телефона Тёмы, который совал его мне под нос и ржал: «Гром, ты звезда! Сорок тысяч просмотров, как ты спишь!» В том ролике она стояла в проходе аудитории и шёпотом говорила в камеру: «Вот на это идут ваши налоги, друзья». И показывала на меня.

Она остановилась на предпоследней ступеньке. По тому, как сузились серо-зелёные глаза за чёрными стрелками, я понял: узнала. Не сразу — секунды через две. А когда узнала, на лице передвинулись сразу три выражения. Испуг, потом что-то похожее на стыд, и сразу поверх них — насмешка. Насмешка победила.

— Нет, — сказала она.

— Доброе утро, — сказал я.

— Нет-нет-нет. Папа нанял тебя? Тебя? — Она спустилась на последнюю ступеньку, и теперь наши глаза были почти на одном уровне. Почти: кроссовки помогали. — Это

что, месть? Ты пришёл мстить за ролик?

— Я пришёл на работу.

— Ко мне?

— Я не знал, что к вам.

— «К вам», — передразнила она. — Обалдеть. То есть ты согласился, не спросив, кого будешь охранять? Отлично. Профессионал.

На это мне нечего было возразить. В таких случаях я молчу. Молчание вообще лучшая защита: в него трудно попасть.

Соня обошла меня по кругу, как обходят машину на авторынке, и остановилась спереди. Взгляд упал на мой бомбер. На нашивку.

Она моргнула. Потом ещё раз. Потом засмеялась так, что из кухни выглянула женщина с пирожками.

— «Гардиан»? Хранитель, серьёзно? Тебе его вместе с должностью выдали? Или ты его сам вышил, чтобы не забыть, кто ты?

Бомбер я купил на рынке два года назад за тысячу двести. Из всех тёплых он был самым дешёвым, а нашивку я даже не читал. Тёма потом полгода называл меня Стражем Галактики.

— Совпадение, — сказал я.

— Я в совпадения не верю. Я журналист.

— Вы блогер.

Она перестала смеяться. Как будто выключили звук. На одну секунду у неё было такое лицо, будто я попал не в на-

смешку, а сильно глубже. Потом она снова улыбнулась. Другой улыбкой, холоднее.

Запомнил: у неё есть слабое место. И сразу решил туда больше не бить. Даже не знаю почему.

***

У крыльца стояли две машины. В чёрной за рулём сидел Макс — тот самый парень-водитель со склада, мой ровесник. Макс приветственно мигнул фарами. Соня прошла мимо него, даже не повернув головы.

Белая была маленькая, из тех, что стоят как моя общага вместе с жильцами.

— Я езжу сама, — сказала она, открывая дверь белой. — А ты можешь бежать сзади. Ты же спортсмен.

Инструкция Геннадия Петровича на этот счёт была простая: объект в свою машину не сажать, объект ездит с Максом. Для инструкции, наверное, это просто. Инструкция не видела объект.

Я не стал спорить. Обошёл машину, открыл пассажирскую дверь и сел.

— Эй! Кто тебе разрешил?

— Договор с вашим отцом, пункт четыре, — сказал я, застёгивая ремень. Пункта четыре я не читал. Даже не знаю, был ли там вообще пункт четыре. Но звучало убедительно.

Соня села за руль, секунду смотрела на меня, а потом так резко тронулась с места, что из-под колёс брызнул гравий. В зеркале я увидел, как Макс спешно выруливает следом.

Ехала она быстро, но хорошо. Это было обидно: я рассчитывал, что найду в ней хотя бы один настоящий недостаток. На каждом повороте она притапливала чуть сильнее, чем нужно, и косилась на меня. Ждала, что я схвачусь за ручку над дверью.

Я достал из кармана второй пирожок и начал есть.

— Ты ешь в моей машине.

— Нина Петровна дала.

— Она и тебя успела прикормить? Предательница. — Она помолчала, перестраиваясь в левый ряд без поворотника. — С капустой?

— С капустой.

— С капустой — самые вкусные, — сказала она с такой обидой, будто я украл у неё детство.

Я не предложил. Во-первых, она бы не взяла. Во-вторых, пирожок был последний.

***

Парковка у факультета журналистики состояла из таких же маленьких дорогих машин. У нас, на спортивном, парковка состоит из велосипедов и машины завхоза. Два корпуса стояли через дорогу, но между ними были целые вселенные.

Соня заглушила мотор и повернулась ко мне. Теперь она была спокойна, и это было хуже, чем когда она смеялась.

— Слушай, Гардиан. Давай честно. Тебе сколько заплатили? Я дам тебе столько же, чтобы ты сегодня же уволился. Ты получишь деньги, я получу свободу. Все довольны.

Я посмотрел на неё. На кольцо с камнями, дороже которого у меня в жизни ничего не было. На чёрные ногти, которыми она постукивала по рулю. Стук, стук, стук. Нервничала. Хорошо скрывала, но нервничала.

Я подумал, что она, наверное, часто так делает. Покупает свободу. И что те трое до меня, может, ушли не с нервным тиком, а с двойной зарплатой.

— Нет, — сказал я.

— Ты даже не дослушал.

— Дослушал.

— Почему? — В её голосе впервые было настоящее любопытство. — Тебе же всё равно, откуда деньги.

Можно было ответить про честность. Про то, что я дал слово её отцу. Это была бы правда, но не вся.

Вся правда была в том, что вчера вечером задаток уже пришёл на карту. И мама сегодня в семь утра написала мне: «Кирюш, нас записали к профессору. Откуда деньги?» А я ответил: «Работа нашлась. Хорошая». И если через два дня эта работа кончится, то кончится и профессор.

Но это было не её дело. У неё и так были сорок тысяч просмотров моего сна.

— Потому что мне не всё равно, — сказал я и открыл дверь. — У вас первая пара через семь минут, аудитория двести десять. Вы опаздываете.

Она прищурилась.

— Откуда ты знаешь моё расписание?

— Геннадий Петрович читал мне его вслух полчаса. А в папке у вас ещё фотография. С бантами.

По тому, как она покраснела — даже сквозь тональный крем, — я понял, что нашёл на сегодня достаточно слабых мест.

Мы шли к корпусу: она впереди, я в трёх шагах сзади. И я чувствовал, как с каждым шагом на нас поворачивается всё больше голов. Кто-то уже доставал телефон.

Соня Белова и парень из её же ролика. Я даже знал, как назовут следующий ролик. В жизни они все называются одинаково: «Вы не поверите».

У дверей она обернулась:

— Спорим, ты уволишься до пятницы?

— Я не спорю на работе, — сказал я.

Это была правда. Но если бы я спорил, то поставил бы на себя. На все двенадцать тысяч, которых у меня уже не было.

Глава 4. Соня

Я узнала его не по лицу.

Лица в моём ролике не было, только затылок и куртка вместо подушки. Я узнала его по тому, как он стоял в холле. Ровно. Тяжело. Как будто пол под ним был чуть твёрже, чем под остальными. Так выглядел тот парень на лекции, когда вздрогнул от удара по кафедре и сразу выпрямился. Секунда, которую я вырезала из ролика, потому что она портила смешное.

Я её помнила. Оказывается, всё это время помнила.

Сначала мне стало страшно, что он пришёл мстить. Потом стыдно, потому что сорок тысяч человек посмеялись над тем, как он спит, а я даже не спросила себя, почему он спит. А потом я сделала то, что делаю всегда, когда мне стыдно: засмеялась. Громко. Над нашивкой. Пусть лучше смеются над ним, чем смотрят на меня.

А он сказал: «Вы блогер».

Два слова. Он даже не целился. Он просто сказал то, что видел, тем же голосом, каким сказал: «Доброе утро». И попал туда, куда за семь лет не попал ни один комментатор. Туда, где сидит Ева.

Всю дорогу до факультета я ехала быстрее, чем надо, и ждала, что он схватится за ручку. Он ел пирожок. Я его за это ненавидела. И немножко за то, что пирожок был с капустой,

а мне он не предложил.

***

К обеду про нас знал весь факультет.

Не про «нас», конечно. Никаких «нас» не было. Была я и была тень в чёрном бомбере, которая сидела на последнем ряду аудитории двести десять и не спала. Я специально проверяла. Три раза оборачивалась за пару, и все три раза натыкалась на его взгляд. Тяжёлый, исподлобья, спокойный, как у собаки, которая не лает, потому что ей не нужно.

На четвёртый раз я не обернулась из принципа.

— Он симпатичный, — прошептала Лика, вися у меня на плече. — Ну правда симпатичный. В ролике по затылку не было понятно. А его скулы ты видела? Об них порезаться можно.

— Вот и порежься.

— Сонь. Ну согласись.

— У него лицо, как у закрытой двери, — сказала я. — И он ест в чужих машинах.

Лика посмотрела на меня так, будто это не довод, а романтическая подробность.

Лика вообще разбирается в скулах. У неё самой такие, что на фотографиях ей не нужен контуринг. Тёмное каре до подбородка, яркая помада, стрелки длиннее моих. Она на полголовы ниже меня и поэтому всю жизнь ходит на каблуках. Говорит, это не комплекс, а выравнивание.

На самом деле меня бесило другое. Не скулы и не пиро-

жок. Меня бесило, что на сегодняшний вечер у меня были планы, и он в них не входил.

В семь вечера меня ждала Зоя Ивановна с пятого этажа дома на Заречной. Та самая, которая спит в куртке. Она обещала показать мне старые бумаги, которые ей выдали при заселении. Там могло быть имя подрядчика. Имя, которое ждал «Сквозняк».

Зоя Ивановна знала меня как Еву. Как скромную девочку в джинсах и без косметики, которая приезжает на автобусе. И никак не должна была узнать, что у Евы есть телохранитель с надписью «Хранитель» на груди.

После пар я отогнала машину домой: переодеться в платье и собрать сумку для Евы. Гардиан всю дорогу молчал и держался за ручку двери, хотя я ехала ровно шестьдесят. Наверное, назло. А у ворот нас уже ждал Геннадий Петрович и сказал, что теперь я езжу только с Максом. По инструкции. Пункт четыре. Ключи он у меня не забрал, только посмотрел на них так, что я сама убрала их в ящик.

Значит, нужен план.

***

План был идеальный.

В шесть мы с Ликой и Ариной сидели в кафе на Пушкинской. Я специально выбрала его: женский туалет там на первом этаже, а окно выходит во двор. Я знала это, потому что в десятом классе уже сбегала оттуда со свидания. Из двора две минуты до остановки, двадцать минут до Заречной. В сум-

ке с ноутбуком лежали джинсы, старая толстовка и влажные салфетки, чтобы стереть Соню Белову с лица прямо в автобусе.

Гардиан сидел за соседним столиком с чашкой чая. Не кофе — чая. Чёрного, без сахара, за сто двадцать рублей, самого дешёвого в меню. В самом розовом кафе города, среди бархатных кресел и пастельных макарун, он выглядел как танк на детской площадке. Официантка уже дважды подходила спросить, не нужно ли ему чего-нибудь ещё. Дважды и поправляла волосы.

В шесть сорок я встала.

— Я в дамскую комнату, — сказала я девочкам так, чтобы слышал и соседний столик. — С сумкой. Женские дела.

Гардиан даже не поднял глаз от чая. Я сдержала улыбку номер два, «победную», до самой двери.

Окно оказалось уже, чем в десятом классе. Или я стала шире. Думать об этом было некогда. Я выкинула сумку на улицу, встала на крышку унитаза, потом на подоконник, потом села на него боком, как на лошадь. Двор был пуст и темен. Пахло мокрыми листьями и свободой.

Я перекинула ногу наружу. Десятисантиметровая шпилька повисла над темнотой. И в эту самую секунду снизу спокойный голос сказал:

— Каблуки сними. Неудобно же.

Я чуть не упала. В буквальном смысле.

Он стоял прямо под окном, прислонившись плечом к сте-

не, и держал в руке мою сумку. Он её поймал. Гардиан поймал мою сумку, пока я залезала на унитаз.

— Как ты… Ты же сидел с чаем!

— Сидел, — согласился он. — Потом ты сказала «с сумкой». Девушки не объявляют, что идут с сумкой. Они просто идут с сумкой.

Я сидела на подоконнике, одна нога в туалете, другая во дворе, и понимала: сейчас нужно было что-то сказать. Что-то острое, смешное, чтобы победила я. В сто раз более дурацких ситуациях я всегда находила, что сказать. Это была моя суперспособность.

Суперспособность молчала.

— Назад или вниз? — спросил он.

Вернуться назад через туалет, мимо Лики, Арины и официантки, которая поправляет волосы, было хуже смерти.

— Вниз, — сказала я сквозь зубы.

Он поставил сумку на сухое место у стены, подошёл и протянул руки. Не руку — руки. Я посмотрела на них с подозрением.

— Сама спрыгнешь на шпильках на мокрый асфальт — сломаешь ногу, — пояснил он. — Тогда мне придётся носить тебя на лекции на руках. Я не хочу.

— Я тоже не хочу.

— Вот видишь. Хоть в чём-то мы согласны.

Я сняла туфли. Сначала одну, потом другую, и бросила их вниз, стараясь попасть ему в голову. Он поймал обе, не

глядя, и поставил рядом с сумкой. Ровно, пятка к пятке.

Потом я перенесла наружу вторую ногу и осторожно наклонилась вперёд. Он взял меня за талию и снял с подоконника так легко, как снимают с верхней полки коробку с ёлочными игрушками. На секунду я оказалась в воздухе, а потом мои босые ноги коснулись холодного асфальта.

Руки он убрал сразу. Раньше, чем я успела поставить вторую ногу. Так быстро, будто обжёгся.

Я почему-то это запомнила.

***

Мы стояли в тёмном дворе. Я босиком, с каблуками в руке. Он с моей сумкой на плече. Из открытого окна туалета доносилась фоновая музыка кафе, что-то романтичное про любовь и Париж. Хуже саундтрека придумать было нельзя.

— Так, — сказал он. — Раз уж мы здесь. Давай договоримся о правилах.

— Мы уже на «ты»? Утром ты мне выкал.

— Утром ты ещё не лезла в окно. — Он поднял один палец. — Первое. Ты всегда в зоне моей видимости. Всегда. Хочешь сбежать — скажи, куда, — я тебя отвезу.

— Очень смешно.

— Я серьёзно. — Он поднял второй палец. — Второе. Если я говорю «стоп», ты останавливаешься. Сразу. Без вопросов. Потом можешь спрашивать сколько угодно. Но сначала стоишь.

— А «пожалуйста» в комплекте идёт?

— Нет.

Я ждала третьего пальца. Правила всегда бывают по три. Это знает любой, кто хоть раз писал статью или смотрел кино. Три совета, три желания, три поросёнка.

Третьего пальца не было. Он опустил руку.

— А третье? — спросила я.

И вот тут с ним что-то произошло. Крошечное. Доля секунды, не больше. Он посмотрел не на меня, а чуть в сторону. На талию, за которую держал минуту назад. И сразу отвёл глаза.

— Третье не для тебя, — сказал он. — Третье для меня.

Хороший журналист не отстал бы, пока не узнал. Хороший журналист понял бы, что именно так выглядят самые интересные секреты. Но я стояла босиком на холодном асфальте, и у меня начинали мёрзнуть пальцы.

— Предсказуемо, — сказала я и стала обуваться, опираясь на стену. — У тебя даже правила как у закрытой двери.

Если он и понял, что это значит, то не показал.

***

Машина с Максом ждала на выезде из двора. Конечно, она ждала именно там. Девочкам я написала «простите, срочно домой». Лика ответила семью смайликами, и все семь намекали на неприличное.

В машине он не спросил, куда я собиралась. Я ждала этого вопроса всю дорогу и приготовила ответ: «На свидание». Даже придумала парня: высокий, на мотоцикле, полная про-

тивоположность охране.

Он не спросил.

На последнем светофоре перед домом я не выдержала:

— Тебе даже не интересно, куда я бежала?

— Интересно.

— И?

— И не моё дело. — Он смотрел в окно. — Моё дело, чтобы ты туда доехала. И обратно.

Помолчал и добавил:

— На свидание не берут ноутбук. И старую толстовку тоже.

Я заглянула в сумку. Из неё торчал рукав толстовки. Серой, с дыркой на локте, самой немажорской вещи на свете.

Он заметил. И не спросил. Я не знала, что из этого хуже.

У дома я вышла из машины и наклонилась к его открытому окну.

— Слушай меня, Гардиан. Это был первый раунд. И если ты думаешь, что выиграл, то ты просто не знаешь, с кем связался. Это война.

Он кивнул. Спокойно, как кивают, когда сверяют расписание.

— Хорошо. Завтра в восемь сорок.

***

У себя в комнате я села на пол и написала Зое Ивановне: «Здравствуйте, это Ева. Извините, сегодня не смогу. Можно перенести?»

Ответ пришёл через двадцать минут. Зоя Ивановна писала медленно и без запятых: «Конечно дочка я всегда дома куда мне идти только одевайся теплее у нас дует».

Я сидела и смотрела на это «у нас дует», пока буквы не расплылись.

Потом пришло сообщение от Лики: «Ну что там с нянечкой? День второй из семи».

Я вытерла глаза рукавом и написала одно слово:

«Война».

И уже засыпая, почему-то думала не про войну. А про то, как быстро он убрал руки. И про третье правило, которое «не для меня».

Глава 5. Кирилл

Она думала, что я выиграл первый раунд. Я так не думал.

В кафе я сидел с чаем за сто двадцать и смотрел на дверь туалета, и в голове у меня крутилась одна мысль: если она сейчас вылезет в окно на шпильках и сломает ногу, Варю весной никто не прооперирует. Звучит цинично. Петрович сказал бы: честно.

А потом я стоял под окном с её сумкой, тяжёлой, с ноутбуком, и смотрел, как она сидит на подоконнике: одна нога там, другая здесь. И вдруг увидел не дочку Белова. Девчонку, которая куда-то очень хотела попасть. Так хотела, что полезла в окно туалета в розовом кафе. Я так лез через забор стадиона, когда мне было десять, — на бесплатную тренировку.

И когда я снял её с подоконника — она весила меньше мешка с песком у нас в зале, пахла ванилью и на секунду вцепилась мне в плечи, чтобы не упасть, — я убрал руки так быстро, как убирают руку с горячей плиты. Не потому, что обжёгся. Потому что понял, что могу обжечься.

Она это заметила. Я видел, что заметила. Она всё замечает, просто делает вид.

Пока Макс разворачивался у ворот, я видел, как у неё на втором этаже загорелся свет и на подоконник села тень. Села и обняла колени. Я решил, что она строит план. Война же.

Я написал Геннадию Петровичу «чисто». Про окно в туа-

лете не написал. Это был мой первый секрет от начальства. И первый — ради неё.

***

На второй день я стал нянечкой.

Не официально. Официально я числился в службе безопасности «Белстроя», и каждые два часа писал Геннадию Петровичу слово «чисто». Он ни разу не ответил. Каждый раз под сообщением появлялись две синие галочки, и я представлял, как он читает и разочарованно хмыкает: ещё жив.

А неофициально я был нянечкой. Соня представляла меня именно так. Каждому. Даже тем, кто не спрашивал.

— Познакомьтесь, это моя нянечка, — говорила она старосте курса, девочке в гардеробе, охраннику на входе. — Он следит, чтобы я вовремя кушала и не разговаривала с незнакомыми дядями.

Охранник на входе, дед лет семидесяти, посмотрел на меня с таким сочувствием, будто я добровольно ушёл в армию.

Я не спорил. Нянечка — так нянечка. У нас в секции одного парня два года звали Пельменем, и ничего, до мастера спорта дошёл. К тому же я заметил простую вещь: чем спокойнее я реагировал, тем быстрее ей надоедала шутка. Соне нужен был ответ. Без ответа шутка висела в воздухе, как промахнувшийся боковой.

К обеду она перестала представлять меня людям. Зато начала обращаться ко мне вслух:

— Нянечка, подержи сумку. Нянечка, принеси кофе. Ня-

нечка, отвернись, я крашу губы.

Сумку я держал. За кофе не ходил. Отворачиваться тоже не стал — правило первое.

***

На паре по журналистской этике я сидел на последнем ряду, как вчера. Вчера я почти ничего не слышал, потому что смотрел на двери и окна. Сегодня двери и окна я уже знал, и невольно стал слушать.

Оказалось интересно. Преподавательница, маленькая женщина с огромными серьгами, рассказывала про журналиста, который двадцать лет назад написал правду про завод, и завод закрыли, а полгорода осталось без работы. И спрашивала, прав ли он был.

Спорили все. Кроме Сони. Соня сидела на третьем ряду и что-то быстро записывала, и по тому, как напряглась её спина, я понял, что ей тоже интересно. Только она не хотела, чтобы это заметили.

А потом преподавательница посмотрела на последний ряд.

— Молодой человек. Вы у нас новенький? Как думаете, что такое журналистская этика? В двух словах.

Вся аудитория обернулась. Вся, кроме Сони.

Я мог сказать, что я не студент. Мог сказать «не знаю». Но из меня вылетело первое, что пришло в голову. Так бывает в спарринге: рука выходит раньше, чем ты успеваешь подумать.

— Не снимать людей, когда они спят.

Аудитория секунду молчала. Потом кто-то хрюкнул, кто-то захлопал. Все видели тот ролик. Все поняли.

Преподавательница приподняла брови, проследила взгляды студентов до третьего ряда и сказала:

— Что ж. Для двух слов — неплохо. Засчитаю вам активность, если скажете фамилию.

Я сказал, что учусь на другом факультете. Она сказала, что это очень жаль.

А Соня так и не обернулась. Я видел только её затылок и кончики ушей. Кончики ушей были красные.

И мне стало паршиво. Я же вчера решил не бить туда, где у неё болит. А сегодня ударил при ста людях. В спарринге за такое просят прощения, касаясь перчаткой. Перчаток у меня с собой не было.

После пары я сказал:

— Я не хотел. Она спросила, я ответил.

— У тебя получилось смешно, — сказала Соня, не глядя на меня. Голос был ровный. — Радуйся. Теперь ты тоже звезда.

И на весь остаток дня перестала называть меня нянечкой. Я не понял, хорошо это или плохо.

***

На третий день был торговый центр.

У меня долго была теория, что торговый центр — это место, куда ты заходишь за носками и выходишь с носками. Со-

ня разрушила эту теорию за четыре часа.

За четыре часа мы побывали в одиннадцати магазинах. В девяти из них она ничего не купила. В двух купила столько, что у меня в каждой руке было по четыре пакета. Я знал цену каждого, потому что чеки торчали сверху. В самом лёгком пакете лежал шарф. Этот шарф стоил две мои стипендии.

Я старался об этом не думать. Не получалось.

В одиннадцатом магазине она набрала охапку платьев и скрылась в примерочной. Я встал напротив шторки. Из-за шторки высунулась голова.

— Ты ещё тут?

— Правило первое.

— На примерочную твоё правило не распространяется, извращенец.

Девочка-консультант рядом посмотрела на меня с тревогой. Я подумал и отступил на три шага, к вешалке с невозможно дорогими ремнями.

— Ладно, — сказал я. — Поправка к правилу первому. В примерочной ты в зоне слышимости. Поэтому говори.

— Что говори?

— Что угодно. Молчишь дольше минуты — я захожу.

Шторка резко задёрнулась. Девочка-консультант на всякий случай отошла к кассе.

Восемнадцать минут подряд из примерочной неслось непрерывное бурчание. Сначала Соня перечисляла, что она думает обо мне. Перечисляла долго и с подробностями. По-

том тема кончилась, и она перешла на платья. Потом на какую-то певицу, которая носит такое же платье, и это преступление. Потом про то, что в детстве у неё было такое же синее платье в горошек, его купила мама, и Соня носила его, пока оно не стало трещать под мышками…

И тут она замолчала. На полуслове. Думаю, поняла, что сказала больше, чем хотела.

Я посмотрел на часы. Пятьдесят секунд. Пятьдесят пять.

— Синее бери, — сказал я.

Из-за шторки была тишина. Потом:

— Ты же его даже не видел.

— Ты про него дольше всех говорила.

Синее она не взяла. Из принципа, я думаю. Но на выходе оглянулась на вешалку дважды.

***

На эскалаторе вниз она вдруг обернулась ко мне. У неё было то лицо, с которым Варя в детстве нажимала все кнопки в лифте.

— Слушай, а твоё правило номер два работает в обратную сторону?

Я не успел ответить.

— Стоп! — сказала она в тот момент, когда наша ступенька доехала до низа.

И я встал.

Не потому, что хотел ей подыграть. Просто честность не может быть в одну сторону. Если я требую от неё останавли-

ваться по слову «стоп», то и сам должен. Иначе это не правило, а дрессировка.

И вот я стоял на самом выходе с эскалатора с восемью пакетами. Сзади на меня наехала женщина с ребёнком на руках, за ней подростки, за ними пожилой мужчина с лыжами в чехле. Откуда в октябре лыжи, я так и не понял. Все они спрессовались в пробку и громко возмущались.

Соня смотрела на меня, открыв рот.

— Ты что делаешь?! Иди!

— Не могу. Ты сказала «стоп».

— Я пошутила!

— Правило не различает шутки.

— Парень! — сказал мужчина с лыжами.

— Извините, — сказал я ему через плечо. — Это работа.

Соня покраснела полностью, от шеи до косичек. Вокруг начали оборачиваться. Кто-то уже доставал телефон, и я подумал, что в этот раз звездой станет она. По справедливости.

— Ладно! — шепнула она. — Иди!

Я стоял.

— Пожалуйста! — почти крикнула она.

Я сделал шаг вперёд. Пробка за мной рассыпалась по блестящему полу, мужчина с лыжами прошёл мимо, бормоча про нынешнюю молодёжь.

— Видишь, — сказал я. — Работает в обратную сторону. Но только с «пожалуйста».

Она не разговаривала со мной до самой парковки. Но

у машины, когда я складывал пакеты в багажник, я услышал странный звук. Обернулся. Соня стояла, отвернувшись к стене, и плечи у неё тряслись.

На секунду я испугался, что она плачет.

Она смеялась. Беззвучно, в ладони, так, чтобы я не видел.

Я сделал вид, что не видел.

***

На четвёртый день я отомстил.

Не специально. Просто у меня есть своё расписание, и в таблице Геннадия Петровича оно никак не учитывалось. Три раза в неделю в шесть утра у меня тренировка. Пропускать нельзя: через полтора месяца первенство области.

А если правило первое — всегда в зоне видимости, то…

В пять тридцать утра я стоял у двери её комнаты и стучал. Долго. Потом дверь приоткрылась сантиметров на десять, и в щели показался один глаз и спутанная прядь волос.

— Ты сумасшедший, — сказал глаз.

— У меня тренировка. Оставить тебя я не могу. Значит, едешь со мной.

— Сейчас ночь.

— Сейчас пять тридцать.

— Это и есть ночь! У нормальных людей это ночь!

Дверь захлопнулась. Я посмотрел на часы и постучал снова. В конце коридора открылась другая дверь, и оттуда выглянул сам Белов в халате. Он секунду смотрел на меня. Потом на дверь дочери. Потом снова на меня.

И вдруг усмехнулся — впервые за всё время, что я его знал. И тихо закрыл свою дверь.

Через двадцать минут Соня сидела в машине. В пижамных штанах с медвежатами, кашемировом пальто и солнечных очках. В шесть утра в октябре. Солнца не было и не предвиделось. Очки, насколько я понял, были нужны, чтобы никто не увидел её без стрелок.

Всю дорогу она спала, привалившись к окну. Или делала вид. С ней никогда не поймёшь.

***

Наш спортзал в шесть утра пахнет так, как пахнут все спортзалы в мире: резиной, хлоркой и чужим упорством. Лампы моргают. В углу висит мешок, заклеенный изолентой в трёх местах, ему лет столько же, сколько мне.

Соню я посадил на лавку у стены. Она не сняла ни пальто, ни очки и сидела так, будто попала в ад и пишет на него рецензию.

Петрович вышел из тренерской со свистком на шее, остановился и долго смотрел на лавку.

— Громов. Это кто?

— Работа, Николай Петрович.

— Работа, — повторил Петрович. У него есть особенность: он повторяет твои слова, и ты сразу слышишь, как глупо они звучат. — Работа будет сидеть тихо?

— Будет, — сказала Соня из-за очков. — Работа мечтает осмерти.

Петрович хмыкнул, что в его исполнении практически означало хохот, и дунул в свисток.

Я тренировался полтора часа. Скакалка, бой с тенью, лапы, мешок. И всё время чувствовал спиной лавку у стены. Это было непривычно: на мои тренировки никто никогда не приходил. Мама работала в две смены. Отец был за сигаретами.

На середине тренировки я обернулся. Очки лежали рядом с ней на лавке. Она смотрела на мешок. Нет, на меня. И тут же снова на мешок.

На заключительной серии я пропустил от Петровича лапой по уху. Первый раз за полгода.

— Работа, — сказал Петрович, глядя на меня поверх лап. И больше ничего не сказал.

***

Тёма появился, когда я уже разматывал бинты. Он играет в футбол, и футболисты тренируются после нас. Обычно он опаздывает минут на двадцать. Сегодня он пришёл раньше, и я даже не хочу знать, кто ему написал.

Он остановился посреди зала с сумкой на плече и посмотрел на лавку. Потом на меня. Потом снова на лавку. Лицо у него было как у ребёнка, которому дали сразу три мороженых.

— Гром, — сказал он сдавленным голосом. — Гром. Это ж она. Это ж ТА САМАЯ.

— Тёма.

— Ты её… охраняешь? Её? Мамочки. Это лучший день в моей жизни.

Он не стал ждать, пока я его остановлю. Двумя прыжками оказался у лавки, плюхнулся рядом с Соней и протянул руку.

— Артём. Можно Тёма. Сосед этого человека по комнате. Тот самый, чью кровать было видно в вашем втором ролике. В самом начале, на фоне. Вы не заметили.

У Сони не было второго ролика про нашу общагу. Тёма это только что придумал. Но Соня почему-то пожала ему руку. Тёме все пожимают руку. Это его суперспособность.

Дальше я слышал обрывками, потому что переодевался. Тёма рассказывал про общагу. Про то, как мы жарим картошку на одной сковородке на весь этаж. Про то, как я однажды починил душ на всех четырёх этажах, потому что сантехник запил. Про ночные смены.

Тут я перестал завязывать кроссовку.

— …на складе с десяти до шести утра, а потом сразу на пары. Я ему говорю: Гром, ты же сдохнешь. А он: Варе надо. И всё. Это сестра его, мелкая…

— Тёма, — сказал я.

Тёма посмотрел на меня, потом на Соню и что-то понял. Для Тёмы это редкость.

— В общем, футбол, — сказал он и встал. — Очень приятно. Приходите ещё. В следующий раз я испеку блины.

Он не умеет печь блины.

Соня до машины молчала. И в машине молчала. Очки так

и не надела. В зеркале я видел её лицо без стрелок, без улыбки, без всего. Оно было серьёзное. Младше, чем обычно. И что-то там было на носу и скулах, но я не разглядел что. На первом же светофоре она отвернулась к окну.

У дома она сказала, не глядя на меня:

— Ты тогда спал после ночной смены.

Это был не вопрос. Я и не ответил.

***

На пятый день была вечеринка.

Арина, самая громкая из Сониных подруг, отмечала день рождения в загородном доме своих родителей. Родителей там, естественно, не было. Зато были диджей, бассейн с подсветкой и пара сотен человек, из которых Арина знала в лучшем случае треть.

Инструкция Геннадия Петровича была написана на листке в моём кармане: «Домой не позже часа ночи. Не обсуждается». Слово «не обсуждается» было подчёркнуто дважды.

В час ночи я подошёл к Соне. Она стояла у бассейна с бокалом, в котором, насколько я видел весь вечер, был один и тот же сок со льдом. Рядом с ней крутился парень в пиджаке на голое тело, Дэн, его тут все звали Дэн. Полчаса он трогал её за локоть, а она полчаса отодвигала локоть. За эти полчаса я дважды делал шаг вперёд и дважды останавливался. Она справлялась сама. Она вообще справлялась сама со всем, кроме меня.

— Час, — сказал я. — Поехали.

— Нет.

— Соня.

— Нет, Гардиан. — Она повернулась ко мне, и по глазам я видел, что она трезвая и страшно устала. — Я всегда уезжаю последней. Это моё правило. Потому что, когда ты уезжаешь первой, тебя обсуждают. А когда последней, обсуждать уже некому.

— У тебя правила хуже моих.

— Спорно.

Дэн воспользовался паузой. Он обнял Соню за плечи и сказал мне с ухмылкой:

— Слышь, секьюрити. Дама сказала «нет». Можешь посидеть в машинке.

Я смотрел не на него. Я смотрел на её плечо. Под его ладонью оно стало твёрдым, как доска. Она не отстранилась. Она просто замерла и улыбнулась одной из своих улыбок. Я уже знал, что у неё их несколько. Эта была самая плохая.

И тогда я сделал то, что сделал.

Я не стал трогать Дэна. Я аккуратно снял его руку с её плеча, как снимают с куртки чужой шарф, и отдал ему обратно. Потом нагнулся, обхватил Соню поперёк спины и под коленями и одним движением закинул на плечо.

Бокал с соком упал в бассейн. Диджей случайно или нарочно сделал музыку тише. Двести человек повернули головы. Минимум сто достали телефоны.

— ПОСТАВЬ МЕНЯ! — Соня колотила меня кулаками

по спине. Била она, кстати, неплохо. — ТЫ СУМАСШЕДШИЙ! Я ТЕБЯ УВОЛЮ! ПАПА ТЕБЯ УВОЛИТ!

— Возможно, — сказал я и пошёл к выходу.

Толпа расступалась. Дэн что-то кричал вслед, но не догонял. Лика с телефоном в руке стояла у двери с таким лицом, будто смотрела финал сериала.

— Сонь! — крикнула она нам вслед, и в голосе её был чистый восторг. — Седьмой день! Помнишь?!

На моём плече Соня внезапно перестала колотить и застонала так, будто её ранили.

Я не знал, про какой седьмой день речь. Но почему-то улыбнулся.

***

В машине мы молчали. Макс вел и всю дорогу так старательно не смотрел в зеркало, что я чувствовал, как он туда смотрит.

Уже на нашей улице Соня сказала очень тихо, не оборачиваясь:

— Ты мог просто попросить.

— Я попросил. Два раза.

— Ты мог попросить третий.

Она не сказала про Дэна. И я не сказал. Но мы оба знали, почему третьего раза не было.

Возле дома она уже спала, привалившись виском к стеклу. В этот раз по-настоящему. У неё были голые плечи, а в машине стоял холод. Я снял бомбер и укрыл её. Нашивка

«Гардиан» легла ей прямо под подбородок.

Макс всё-таки посмотрел в зеркало. И усмехнулся.

Тогда я и вспомнил про третье правило.

Я придумал его в тот вечер во дворе за кафе, когда снял её с подоконника и почему-то не сразу вспомнил, как дышать. Всего на полсекунды. Но полсекунды в моём деле — это много. За полсекунды пропускают удар.

Третье правило было коротким, как джеб: не привязываться к клиенту.

Я посмотрел на спящую Соню, укутанную в мой рыночный бомбер, и твёрдо повторил его про себя.

Дважды. Для надёжности.

Не помогло ни разу.

Глава 6. Соня

Когда Дэн положил мне руку на плечо, я сделала то, что делаю всегда. Замерла и улыбнулась. Улыбка номер семь, самая старая. Её я отрепетировала первой, ещё в девятом классе, для папиных гостей, которые всё ещё трепали меня за щёку. Она означает: «Всё в порядке, потерплю, сейчас вы уйдёте».

Никто никогда не догадывался. Особенно папины гости.

А он догадался. Он смотрел не на Дэна и не на меня, а на моё плечо. И снял с него чужую руку так, как снимают с вешалки не свой шарф. Вежливо. И отдал владельцу.

Потом мир перевернулся вверх ногами, и я орала, и колотила его по спине, и двести человек доставали телефоны. И всё это время, вися вниз головой у него на плече, я чувствовала одно. Не стыд. Облегчение. Такое сильное, что мне стало за него стыдно.

В машине я сказала: «Ты мог попросить третий раз». И оба мы знали, что это неправда. Что третьего раза я бы не дождалась. Что я бы ещё час стояла у бассейна с чужой ладонью на плече и улыбкой номер семь, потому что уезжать первой — значит дать себя обсуждать.

Последнее, что я помню, — холодное стекло у виска. И как что-то тёплое и тяжёлое легло мне на плечи. Осторожно. Так, чтобы не разбудить. Я хотела открыть глаза и сказать

что-нибудь острое. И не стала.

***

Я проснулась в чужой куртке.

Сначала почувствовала запах: стиральный порошок из тех, что продают в больших пачках, холодный воздух и что-то ещё, чему я не стала придумывать название. Потом увидела нашивку. Она лежала у меня на подушке, в сантиметре от носа, и крупно сообщала мне: «Хранитель».

Я не помнила, как дошла до кровати. То есть помнила машину, холодное стекло у виска, а дальше был обрыв плёнки. Значит, либо я дошла сама во сне, либо меня донесли. О втором варианте я решила не думать никогда.

Телефон вибрировал без перерыва. Я открыла его, глянула одним глазом и сразу закрыла.

Меня сняли. Конечно, меня сняли. С пяти ракурсов. На одном видео были только мои ноги, дрыгающиеся у него на плече, и подпись: «когда папа сказал до часу». На другом было крупно видно дверь и мужскую спину — и семьдесят тысяч просмотров за ночь. Семьдесят тысяч. У моего самого удачного ролика за ночь было сорок.

И этот ролик был про него. Вселенная любит рифмы.

Три сообщения были не про видео. Два от Лики. Первое состояло из одной фразы: «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». Второе было серьёзнее: «Сонь, ты как? Дэн вчера был просто ужасен. Твой Гардиан лучший». Я даже не знала, что меня расстроило больше: «лучший» или «твой».

Третье было от папы. Отправлено в семь утра, видимо, из машины по дороге на очередной объект.

«Видел запись. Парень всё сделал правильно».

Я читала это сообщение дольше, чем оно того стоило. Искала в нём вторую строчку. Что-нибудь вроде «а ты как?» или «что там случилось?» или хотя бы «Дэн — это кто?» Второй строчки не было. Папа видел запись. Парень всё сделал правильно.

Интересно, что сделала его дочь.

Я выбралась из бомбера так резко, будто он был в чём-то виноват, и швырнула его на стул. Он сполз на пол. Через минуту я подняла его и повесила нормально. На плечики, которые достала из гардероба. Потому что куртка чужая, а не потому что.

***

У него был выходной. По субботам и воскресеньям, если я не выхожу из дома, меня сторожит аппаратура Геннадия: два молчаливых дядьки в будке у ворот, пять камер и забор, за который не перелезет даже соседский кот. Я проверяла в девятом классе. И кот, и я.

А значит, у меня был целый день, чтобы выполнить условия спора без свидетелей.

Здесь нужно сказать, что неделю Лика считала не с его первого рабочего дня, а с вечера, когда мы поспорили. А ещё что спорить с Ликой о математике бесполезно. Я пыталась во втором классе. И в седьмом. И вчера в три часа ночи в

переписке.

Но дело было не в математике. Дело было в том, что он продержался. Вопреки окну, эскалатору, нянечке, восьми пакетам и четырём часам в торговом центре. Никто до него не выдерживал четырёх часов в торговом центре. Даже папа. Особенно папа.

Я проиграла. Честно.

И вот в одиннадцать утра я стояла перед зеркалом в ванной. Без тонального. Без стрелок. Без бровей, то есть с бровями, но с ненарисованными. И с веснушками.

У меня их много. На носу, на скулах, на лбу поменьше. В детстве мама называла их «солнечные поцелуи». Потом мама уехала, а в седьмом классе один мальчик назвал их «следами от грязной лужи». Теперь каждое утро я замазываю их тонким слоем из тюбика, который стоит как чугунный мост.

Того мальчика я давно заблокировала. А тюбик покупаю до сих пор.

Я включила камеру. Девочка в телефоне выглядела на пятнадцать и смотрела на меня с испугом. Улыбка номер один, «всё прекрасно», на этом лице не работала. Номер четыре тоже. Ни одна не работала. Они все были придуманы для другого лица.

Запись я начала тринадцать раз. В четырнадцатый не стала улыбаться вообще.

— Привет, — сказала я в камеру. — Это Соня. И сегодня вы узнаете, что, когда проигрываешь спор подруге, платить

приходится лицом. В прямом смысле. Лика, это тебе.

И нажала «опубликовать», пока не передумала.

Потом села на край ванны и сидела, зажмурившись, как перед уколом.

***

Укола не было.

Были комментарии. Сначала смайлики. Потом «ого, кто это?» и «СОНЯ У ТЕБЯ ВЕСНУШКИ??» Потом одна девочка, которую я не знала, написала: «Я тоже их замазываю. Спасибо, что показала». Под ней написали ещё тридцать человек: «и я», «и я», «и я тоже».

Не знаю, сколько я их читала. Долго. Лика прислала голосовое на минуту, из которой сорок секунд были визгом, а двадцать признанием, что она не думала, что я правда на это пойду.

А потом я открыла список тех, кто посмотрел. Просто так. Из привычки.

На сто сорок втором месте среди красивых аватарок был серый кружочек без фотографии. Ник: k.gromov. У него не было ни одной публикации, и подписан он был на три аккаунта: федерация бокса области, паблик какого-то маленького городка с названием вроде «Берёз-чего-то»… и я.

На меня он подписался пять дней назад.

Я выключила телефон и надолго засунула его под подушку. Ничего это не значило. Охранники должны следить за соцсетями объекта. Это, наверное, даже в договоре написа-

но. Пункт четыре.

***

И вот здесь я должна признаться в том, чем не горжусь.

К трём часам дня я заскучала. Или не заскучала, а разозлилась — на папину одну строчку, на семьдесят тысяч просмотров моих ног, на серый кружочек под номером сто сорок два. И вспомнила, что у нас война. А на войне нужна разведка.

Компромат. Хоть что-нибудь. Что-то, с чем я могла бы прийти к папе и сказать: вот, посмотри, кого ты нанял. И папа бы посмотрел. И за этой одной строчкой нашлась бы вторая.

Бомбер висел на плечиках. У бомбера были карманы.

Хороший журналист не роется в чужих карманах. Этому нас учили на той самой паре по этике, где он ответил про спящих людей. Я помнила. Я просто решила, что война важнее этики. Так думает большинство людей, которые потом жалеют.

В левом кармане были: сложенная вчетверо записка на клетчатой бумаге «Домой не позже часа ночи. Не обсуждается» — почерк Геннадия я узнала бы из тысячи. Пластырь в упаковке. Пятьдесят рублей мелочью. Обёртка от дешёвой шоколадки.

В правом был чек.

Не из магазина. Из банкомата. Перевод двенадцати тысяч рублей на имя Громовой Н. В. Дата — за день до того, как

он появился в нашем холле. Время — два часа ночи.

Кто ходит в банкомат в два часа ночи, чтобы отправить двенадцать тысяч? Тот, у кого деньги наличными. А у кого деньги наличными в два часа ночи? Этот вопрос я записала бы в свои заметки, если бы честно искала компромат.

Но я уже тогда не искала компромат. Я просто смотрела на то, что выпало из чека.

Сложенный вчетверо тетрадный листок. Детский рисунок фломастерами, которые уже почти не рисовали. На нём были две фигурки. Большая — в красных боксёрских перчатках размером с голову. Маленькая — с двумя хвостиками и спиной, нарисованной как изогнутая буква «С». Даже зная, что рисуешь человека, так спину не нарисуешь случайно. Это нарисовали специально.

Сверху кривыми печатными буквами: «КИР И Я». Снизу: «Когда мне сделают прямую спину, я тоже буду боксёром и буду тебя защищать». И сердечко. Красное, с нажимом, протеревшее бумагу почти насквозь.

Рисунок был старый. Сгибы стёрлись до белизны, как бывает, когда бумажку разворачивают и сворачивают очень много раз.

Я сидела на полу между кроватью и стулом, держала в руках чужую жизнь, сложенную вчетверо, и чувствовала себя так, будто меня застали голой посреди аудитории.

Компромата не было. Был стыд. Очень чистый, без примесей, как дистиллированная вода.

Я сложила рисунок ровно по старым сгибам. Завернула в чек, как было. Вернула в правый карман. Пластырь, мелочь и обёртку — в левый. Положила всё так аккуратно, будто над этим стоял ещё один преподаватель этики и ставил оценку.

На факультете меня называют стервой. Я слышала. Знаю. Никогда ещё я настолько с ними не соглашалась.

***

В воскресенье у папы был приём. Партнёры, какие-то люди из мэрии, жёны людей из мэрии, дядя Витя с бутылкой коньяка и вечным «Сонечка, ты всё хорошеешь!» На таких вечерах моя роль была расписана давно: спуститься в платье, улыбнуться номером один, постоять рядом с папой двадцать минут и исчезнуть. Реквизит. Красивая ваза в интерьере успешного человека.

Геннадий вызвал на вечер дополнительных людей. И его.

Я узнала об этом случайно, когда в девять вечера решила, что задание «реквизит» выполнено, и пошла на кухню за чаем. Под мышкой у меня был бомбер. Я собиралась оставить его у Нины Петровны, с запиской «спасибо», в которой будет одно слово и никакой интонации.

Из кухни доносился его голос.

Я остановилась в тёмном коридоре, не доходя до двери. Нина Петровна уже ушла, на кухне горела только лампа над плитой. Он сидел спиной ко мне за нашим огромным столом из цельного дуба, сгорбившись над телефоном, в одной футболке. Оливковой. Ну конечно, в одной футболке, а на спин-

ке стула висела толстовка. У него же больше не было куртки. Октябрь, кстати. Октябрь, плюс восемь ночью.

Я прижала бомбер к груди и не сдвинулась.

— …да не боюсь я, — говорил он в телефон. Тихо. Так тихо он не говорил ни с кем. — С чего мне бояться? Тут камеры на каждом углу и пирожки с капустой.

Пауза. На той стороне что-то спросили тонким голоском. Он усмехнулся — я услышала это по голосу.

— Нет, Варь. Не злая.

Сердце у меня сделало что-то странное. Непрофессиональное.

— Не злая, — повторил он. — Просто громкая. Как ты, когда тебе страшно. Ты же тоже орёшь, когда боишься. …Да, орёшь. Помнишь, как с собакой тёти Гали? Вот. Так и она.

Я перестала дышать. По-моему, надолго.

— …Не знаю, чего она боится. Узнаю — скажу. Давай спать. У тебя во вторник профессор, надо выспаться. …Будет не больно. Нет, честно. Я тебе когда-нибудь врал? …Про ту конфету не считается, это была тактика.

Он смеялся. Тихо, одним дыханием. За неделю я ни разу не слышала, чтобы он смеялся. Я думала, он не умеет.

— Спокойной ночи, малявка. Маме не говори, что я тебе сказку про крокодила-боксёра рассказывал. Скажи про зайчика.

Я не стала ждать, пока он обернётся.

Я повесила бомбер на спинку стула у входа в кухню. Без

записки. Записка с одним словом вдруг показалась мне чем-то совершенно неприличным. И ушла наверх босиком, чтобы стеклянная лестница не выдала меня ни одним звуком.

***

В комнате я открыла свой блог.

Ролик «Спорт за ваш счёт» висел третьим сверху в закреплённых. Сорок три тысячи просмотров. Триста комментариев, из которых я, стыдно сказать, тогда прочитала все. Мой второй самый популярный ролик за всё время.

Я нажала на три точки. «Удалить». «Вы уверены? Это действие нельзя отменить».

Уверена.

Через десять минут Лика написала: «СОНЯ. ТЫ УДАЛИЛА СПОРТ ЗА ВАШ СЧЁТ??? Тебя взломали??»

Я не ответила. Я лежала в темноте и думала, заметит ли он.

Потом поняла, что это неважно.

Глава 7. Кирилл

В машине она уснула уже у дома. Головой на стекло, рот чуть приоткрыт, стрелка на левом глазу размазалась. Без своей брони она выглядела лет на пятнадцать. Я снял бомбер и укрыл её. Не из нежности. Её трясло, а Макс не включал печку. Так я себе сказал.

А потом вспомнил, что в правом кармане чек. И что внутри чека Варя.

Забирать бомбер я не стал. Сам не знаю почему. Наверное, решил, что если она полезет в мои карманы, то хотя бы узнает правду. Мне самому её говорить было нечем.

***

Первый раз я увидел серую машину в понедельник.

Тогда я ещё не знал, что её надо запомнить. Просто у меня привычка, которую тренер вбивал в меня с десяти лет: перед боем посмотри, где углы ринга. На ринге углов четыре. На парковке у журфака их оказалось три: въезд, мусорные баки и дальний ряд под тополями. В дальнем ряду стояла серая старая иномарка с тонировкой. Среди маленьких белых и розовых машин журфака она выглядела примерно как я в розовом кафе.

Номер был залеплен грязью. Видно было только последние две цифры: сорок семь. Через час машина уехала. Я записал «серая, тонировка, 47» в заметки в телефоне, сразу

под списком продуктов «гречка, яйца, бинты», и забыл.

В понедельник у меня вообще были другие заботы.

***

В понедельник Тёма разбудил меня в полшестого утра, сев мне на ноги.

— Гром. Гром, проснись. Это важно.

— Если это опять про кота с четвёртого этажа…

— Она удалила ролик.

Я открыл глаза. Тёма сидел с таким лицом, будто сообщал о падении метеорита, и тыкал мне в лицо телефоном.

— Смотри. Закреплённые. Было три, стало два. Твоего сна больше нет. Сорок три тысячи просмотров — бац, и нету. Ты что ей сделал?

— Ничего.

— Так не бывает. — Тёма прищурился. — Может, ты ей писал?

— Не писал.

И это была правда. Я ничего ей не писал. Я просто дважды посмотрел ролик с веснушками. То есть один раз. Второй раз не считается, я просто не расслышал, что она там сказала. Про то, что на меня подписан её блог, я Тёме тоже не говорил. То есть наоборот. В общем, не говорил.

А в воскресенье ночью, когда я вышел с кухни Беловых после разговора с Варей, на стуле у двери висел мой бомбер. Без записки. А ещё через минуту я услышал наверху тихий щелчок двери — очень осторожный, так закрывают дверь,

когда боятся, что услышат.

Рисунок Вари лежал в правом кармане. Сложенный ровно по сгибам, внутри чека, как всегда. Только чек был сложен другой стороной. Я его всегда складываю цифрами внутрь, чтобы не видеть сумму. А в тот вечер цифры были снаружи.

Значит, знает. Про Варю, про переводы в два ночи, про всё.

Я стоял в тёмном холле с бомбером в руках и ждал, что разозлюсь. В моих карманах никто никогда не рылся, кроме мамы перед стиркой. Это были мои карманы. Моя сестра. Моё дело.

Злость не пришла. Должна была прийти, а не пришла.

А наутро ролика не стало.

Я не знал, как на это отвечают. В боксе на такое не отвечают. В боксе никто не опускает перчатки первым, чтобы сказать «прости».

Поэтому в понедельник утром в восемь сорок я просто сказал ей:

— Доброе утро.

И она, впервые за всё время, сказала:

— Доброе.

Без «Гардиана». Просто «доброе». Стрелки были на месте. Тональный, какой он там, тоже. Но на лестнице она остановилась не на предпоследней ступеньке, а спустилась до конца. Так, чтобы смотреть на меня снизу вверх.

Тогда мы оба про всё промолчали. Но я думаю, это был

наш первый честный разговор.

***

Во вторник серая машина стояла у торгового центра. Не того, куда мы ходили за шарфом за две стипендии, а соседнего, в который Соня заехала на десять минут за картриджами для принтера. За картриджами, а не за платьем. Это я тоже запомнил. Принтер в комнате девушки, которая записывает ролики для телефона. Что она печатает?

Серая машина стояла через два ряда от нас. Тонировка. Номер в грязи. Сорок семь.

Я посмотрел на неё, и у меня внутри что-то тихо щёлкнуло, как щёлкает в голове, когда соперник второй раз подряд опускает левую руку перед ударом. Один раз — случайность. Два — привычка.

Я сделал фотографию, не поднимая телефон до лица. И пошёл к ней. Не быстро. Просто пошёл, как идут к машине, чтобы спросить дорогу.

На седьмом шаге машина завелась и спокойно, без суеты, выехала с парковки. Без фар. В седьмом часу вечера в октябре.

Мама написала в шесть сорок, через минуту после того, как серая машина уехала. Я ещё стоял посреди парковки с телефоном в руке.

«Кирюш, мы от профессора. Он хороший. Старый, в очках, Варю называл барышня. Сказал, что ждать нельзя. Угол за лето вырос, к следующей зиме корсет уже держать не бу-

дет. По квоте очередь полтора года. Он сказал, через полтора года будет другая операция, сложнее. Есть клиника, где можно весной. Я спросила сколько. Он написал на бумажке. Не волнуйся».

Я прочитал это «не волнуйся» два раза. На мамином языке оно значило: сумма такая, что я её даже вслух не скажу.

Следом пришло голосовое от Вари. Девять секунд.

«Кир, профессор сказал, что у меня спина как у балерины, только кривая. Я сказала, что буду боксёром, а не балериной. Он смеялся. И было не больно, ты не соврал. Мама опять плакала, но уже в автобусе. Пока».

Я убрал телефон в карман и посчитал. Белов платил раз в неделю. Если ничего не тратить, если не покупать зимнюю куртку, если Стас больше никогда не позвонит, к марту выходило впритык. Ровно впритык. Как на весах перед взвешиванием, когда стоишь в одних трусах и не дышишь.

Соня вышла из торгового центра с маленьким пакетом, увидела меня посреди парковки и остановилась.

— Ты чего? У тебя лицо, как будто кто-то умер.

— Никто не умер. Садись в машину.

Она села. И не спорила. Наверное, лицо у меня правда было такое.

А я думал, что весной Варя перестанет быть буквой «эс». Что бы мне ни пришлось для этого делать. И что теперь между мной и этой весной стоит серая машина с цифрами сорок семь.

В восемь я стоял в комнате охраны перед Геннадием Петровичем. Он пил чай из кружки с надписью «Лучший рыбак» и смотрел на мою фотографию, как на сочинение двоечника.

— И что?

— Она была у журфака в понедельник. Сегодня у торгового центра. Когда я подошёл, уехала без фар.

— Студент. — Он поставил кружку. — Ты знаешь, сколько в городе серых машин с тонировкой? Десять тысяч. А сколько из них с номером в грязи? Все. У нас осень.

— С цифрами сорок семь?

— С цифрами сорок семь — сотня. — Он вздохнул так, будто я украл у него лично полчаса жизни. — Слушай. У новичков на вторую неделю всегда начинается паранойя. Везде слежка, за каждым кустом снайпер. Это нормально. Это проходит. Номер я пробью. Всё, свободен.

Я не ушёл сразу.

— Как вы пробьёте номер по двум цифрам?

Геннадий Петрович поднял на меня глаза. Впервые за неделю — внимательно.

— Свободен, — повторил он.

У двери на стуле сидел Макс и ковырялся в телефоне. Когда я проходил мимо, он подмигнул.

— Снайперы, да? — сказал он. — У меня тоже было. Первый месяц все зеркала насквозь просмотрел.

Я кивнул. Макс снова уткнулся в телефон. Экран он держал наклонно, к себе. Так держат телефон, когда пишут что-

то, чего не стоит видеть соседу.

Хотя, может, он просто переписывался с девушкой. У новичков на вторую неделю всегда паранойя.

***

В четверг был клуб.

Не вечеринка в загородном доме, а настоящий клуб в центре, в старом заводском цехе. У Лики там выступал какой-то знакомый диджей, и не пойти было нельзя. Так сказала Лика.

Самое странное случилось до клуба, в машине.

— В час, — сказала Соня, глядя в окно. — Я знаю. Не надо меня никуда нести. Сама выйду.

Я ждал подвоха. Подвоха не было.

— Хорошо, — сказал я.

— И ещё. — Она помолчала. — Там будет тесно и темно. Я буду танцевать. Ты меня потеряешь. Но я не сбегу. Просто… знай.

Это был самый длинный и самый неловкий договор в истории нашей войны. Я бы его подписал, если бы было чем.

В клубе действительно было тесно и темно. И так громко, что басы отдавали в рёбра, как хороший джеб в корпус. Всё мигало: синий, фиолетовый, белая вспышка, темнота. Худшее место для правила первого. Я встал у колонны на краю танцпола, откуда были видны выход, бар и коридор к туалетам, и стал смотреть.

Соню я потерял через две минуты.

Через две минуты и пять секунд у меня завибрировал те-

лефон. Незнакомый номер. Фотография: сине-фиолетовый свет, чьи-то руки в воздухе, а по центру она. Селфи. Один глаз прищурен, кончик языка наружу. Подпись:

«В зоне видимости?»

Я посмотрел на фотографию. Потом поднял глаза. За её плечом на фото была видна неоновая вывеска бара, перевёрнутая зеркалом фронталки. Значит, она стояла спиной к бару, лицом к сцене, чуть левее центра. Я нашёл её за четыре секунды. Она танцевала с Ликой и смотрела прямо на меня.

Я сохранил номер. Подписал коротко: «Объект». Потом стёр и написал: «Соня». Потом снова стёр и оставил без имени. Правило третье.

Ответил одним словом: «Вижу».

Она прочитала прямо на танцполе. И засмеялась. Этого смеха не было слышно, музыка глушила всё. Но я его видел.

***

Неприятность началась в половине первого.

Я её заметил раньше, чем она началась: парень в кожаной куртке дважды протиснулся к Соне через толпу и дважды его оттёрло толпой назад. На третий раз он добрался. Сказал ей что-то в ухо. Она покачала головой и отвернулась. Он взял её за запястье.

Она дёрнула руку. Он не отпустил.

Между колонной и центром танцпола было метров пятнадцать и человек сто между ними. Я не помню, как прошёл. Помню только, что толпа расступалась не потому, что я

толкался, а потому, что люди видели моё лицо. Потом Соня скажет, что у меня было спокойное лицо. Очень спокойное. Страшно спокойное.

Я не стал его бить. Я даже не стал его толкать. Петрович говорит: если можешь выиграть без удара, выиграй без удара. Я просто накрыл его кисть своей ладонью. Сверху. И сжал. Не сильно. Ровно так, чтобы он понял, сколько ещё я могу.

— Отпусти, — сказал я ему в ухо. Без нажима. — Она сказала «нет».

Он посмотрел на меня. В глазах плавал алкоголь и что-то ещё, расчётливое. Он прикидывал, кто я. Охрана клуба? Парень? Просто дурак?

Пальцы на её запястье разжались. Соня сразу отдёрнула руку и прижала к груди. А парень вдруг резко дёрнулся вперёд, ко мне, плечом. Хотел сделать красиво на публику.

Я просто сделал шаг в сторону.

Его плечо прошло там, где секунду назад была моя грудь, и наткнулось на пустоту. А пустота на танцполе — это чужая спина. Чужая спина оказалась спиной вышибалы клуба. Вышибала как раз нёс из бара латте с сиропом — на вытянутой в сторону руке, чтобы не задевать людей. Плечо врезалось в спину. Рука дёрнулась. Латте, которое он нёс, теперь было на нём.

Вышибала почувствовал это раньше, чем понял. Потом медленно обернулся. Он был размером с дверной проём. Посмотрел на парня в кожанке. Потом на меня. Потом снова на

меня, дольше.

— Гром? — сказал он.

У меня внутри всё опустилось куда-то в кроссовки.

Он был на складе. Не на моём, где я разгружаю фуры. На том, на промзоне. Он стоял на входе у Стаса и собирал ставки.

— А я смотрю, лицо знакомое. — Вышибала расплылся в улыбке и перекричал музыку: — Ты ж у Стаса тогда, на складе…

— Рад видеть, — сказал я очень громко, чтобы перекричать его. И кивнул на парня в кожанке. — Можешь проводить человека на воздух? Ему плохо.

Вышибала посмотрел на латте на своей спине в отражении зеркальной колонны. Потом на парня. И согласился, что тому плохо. Очень плохо. И сейчас будет ещё хуже, если он не выйдет на воздух сам.

Парень в кожанке вышел на воздух сам. Даже не оглядываясь.

А я обернулся и увидел Соню. Она стояла в метре от меня и держала одну руку другой, там, где были чужие пальцы. И смотрела на меня не с благодарностью. С другим.

С любопытством.

— У какого Стаса? — спросила она.

Музыка не заглушила всё. Конечно. Она же журналист. Она слышит то, что не надо.

— Тренер, — сказал я. — Старый. Из секции.

Это была моя первая ложь ей. Я потом их посчитал. Однажды ночью я честно сел и посчитал. Эта была первой.

Соня кивнула. Медленно. Так кивают не тогда, когда поверили, а тогда, когда записали.

— Поехали, — сказала она. — Уже почти час.

Было двенадцать сорок.

***

На парковке у клуба мы ждали Макса. Он отъехал заправиться и на сообщения не отвечал. Соня стояла рядом, закутавшись в пальто, и молчала. Она теперь часто молчала. Раньше меня бесила её болтовня. Теперь меня бесило, что я не знаю, что она думает.

И тут я увидел машину.

На другой стороне улицы, под сломанным фонарём. Двигатель работал — из выхлопной трубы шёл пар. Тонировка. Номер в грязи.

Третий раз.

Петрович говорит: один раз — случайность, два — привычка. Про три он ничего не говорит. Потому что после третьего раза не говорят. После третьего раза бьют.

Я встал так, чтобы Соня оказалась у меня за спиной. Не думая. Так встают в стойку.

— Что? — спросила она.

— Ничего. Стой так.

Она посмотрела туда, куда смотрел я. И что-то поняла. Не всё. Но того, что она поняла, хватило, чтобы она взялась за

рукав моего бомбера. Сзади. Двумя пальцами.

Я сделал фото. На этот раз подняв телефон на уровень глаз, со вспышкой. Пусть видят.

Машина уехала. Без фар.

А через минуту из-за угла вырулил Макс. С виноватой улыбкой и очень несвоевременным запахом в салоне: не бензина, а сигарет. Хотя машина Белова была для некурящих. И хотя Макс говорил мне на прошлой неделе, что бросил три года назад.

— Очередь на заправке, — сказал он. — Простите, Софья Андреевна.

Я сел сзади вместе с Соней. Впервые. Обычно я сажусь вперёд, чтобы видеть дорогу.

В этот раз мне важнее было видеть водителя.

***

Геннадию Петровичу я позвонил в два ночи, когда Соня уже была дома. Он взял трубку на пятом гудке.

— Третий раз, — сказал я. — У клуба. Фото скинул.

Пауза. Длинная. В трубке было слышно, как он дышит.

— Спи, студент, — сказал он наконец. — Я разберусь.

Не «паранойя». Не «десять тысяч серых машин». «Я разберусь».

Я не знал, хорошо это или плохо. У новичков на вторую неделю всегда паранойя.

Уже лёжа в темноте на своей скрипучей кровати, под храп Тёмы, я открыл сообщения. Номер без имени. Селфи в си-

не-фиолетовом свете. И ниже, когда мы ехали в машине в полной тишине в сантиметре друг от друга, ещё одно сообщение. Она набирала его, сидя в сантиметре от меня, и не сказала вслух.

«Спасибо».

Одно слово. Без смайликов и без интонации.

Я смотрел на него долго. Потом всё-таки подписал номер. Одной буквой. «С».

Надо было ответить «не за что». Или «это работа». Оба варианта были бы правдой.

Я не ответил ничего. Но и не удалил.

И уже засыпая, заметил, что думаю не о серой машине, не о запахе сигарет в салоне и не о вышибале, который знает Стаса. А о двух пальцах на рукаве моего бомбера.

Это было хуже всего.

Глава 8. Соня

Селфи в клубе я сделала не для смеха.

Я сделала его, потому что потеряла Кирилла из виду. Две минуты я танцевала с Ликой и не видела чёрного бомбера у колонны, и мне стало… не страшно. Пусто. Как в доме со стеклянной лестницей. И я подняла телефон и отправила кадр на номер, который списала из телефона Нины Петровны ещё в среду. И подписала смайликом, чтобы было похоже на шутку.

Он нашёл меня за четыре секунды. Я считала.

А потом парень в кожанке взял меня за запястье. И вот что я хочу сказать про эту секунду. Я не испугалась. Я сразу, без всякой логики, посмотрела на колонну. И он уже шёл. Сквозь сто человек, с таким спокойным лицом, что люди сами отступали.

И вот тогда мне стало страшно. Не за себя. От того, что я уже знаю, куда смотреть, когда плохо.

Потом был вышибала с латте на спине и его «Гром, ты ж у Стаса тогда, на складе…» И лицо Кирилла в эту секунду. Я его запомнила точнее, чем селфи. Так выглядит человек, у которого при всех вывалили содержимое карманов.

«Тренер. Старый. Из секции».

Левая бровь у него не двинулась. Я тогда ещё не знала, что это значит. Знала только, что голос был слишком ровный. Я

кивнула и записала в голове: «Стас. Суббота». И мне почему-то стало жалко, что я такая хорошая журналистка.

А на парковке он вдруг встал так, что я оказалась у него за спиной. Я не видела машину. Я видела только его спину, широкую, в бомбере с дурацкой нашивкой, и как она вдруг стала каменной. И взялась за рукав. Двумя пальцами. Сама не знаю зачем. Так держатся дети за мамин подол в толпе.

В машине он сел сзади, со мной. Мы ехали в сантиметре друг от друга, и я написала ему «спасибо», вместо того чтобы сказать. Потому что сказать я бы не смогла. Голос бы меня выдал. А текст не выдаёт.

Ответа не было. Я решила, что так даже лучше.

***

В детстве я думала, что день рождения начинается с запаха.

Мама пекла блины с самого утра, и я просыпалась от того, что весь дом пах ванилью и подгоревшим маслом. Подгоревшим — потому что мама всегда отвлекалась: на телефон, на окно, на мысли, о которых не рассказывала. Первый блин у неё выходил комом не как в поговорке, а по-настоящему. Его съедал папа, стоя, прямо со сковородки, обжигая пальцы, и говорил: «Самый вкусный». Потом он уезжал на работу, а мы с мамой ели остальные с вареньем и смотрели мультики до обеда.

Одиннадцать лет подряд мой день рождения пах ванилью.

Потом мама уехала, и двенадцатый пах кофе из машины,

которую папа купил специально для кухни. Тринадцатый пах новым телефоном. Четырнадцатый — салоном нового автомобиля, который мне было ещё рано водить, но папа сказал «пусть стоит, дорастёшь». Я доросла.

В это утро, в самый обычный понедельник, мой девятнадцатый день рождения пах ничем.

На кухонном острове лежала коробка. Белая, матовая, перевязанная лентой с логотипом ювелирного дома. Рядом — открытка. Я узнала почерк раньше, чем прочитала текст: ровный, наклонный, с длинными хвостиками у букв «д» и «у». Почерк Светланы, папиной помощницы. Она подписывала мне открытки с двенадцати лет. Она очень хорошая, честное слово. Однажды она даже нарисовала на открытке котика.

«Дорогая Сонечка! С днём рождения! Ужин сегодня в 20:00, „Палаццо“, столик заказан. Целую, папа».

Целую, папа. Почерком Светланы.

Я открыла коробку. Серьги. Красивые, с камнями, которые ловили утренний свет и разбрасывали его по потолку маленькими радугами. Подходят к кольцу, которое он подарил мне вместо выпускного. У папы потрясающий вкус. Он ни разу в жизни не подарил мне некрасивую вещь.

Я надела их сразу. Чтобы вечером он увидел, что я их надела.

Нина Петровна вышла из кладовки с пакетом муки, увидела меня, ахнула и полезла обниматься. От неё пахло те-

стом и валерьянкой, и я позволила себя обнять дольше, чем позволила бы кому-нибудь другому.

— Девятнадцать, — сказала она мне в волосы так, будто я лично это совершила. — Кошмар какой. Вчера же на горшке сидела.

— Нина Петровна.

— Сидела-сидела. Синий такой, с утёнком. — Она отстранилась и вытерла глаза краешком фартука. — Я пирог испеку. С капустой. Твой любимый.

У меня не хватило духу сказать ей, что пирог с капустой — это любимый пирог папы, а не мой. Что я начала его любить в восемь лет, потому что папа его любил, и если я тоже буду любить, у нас будет что-то общее. Это сработало ровно на один ужин. Но привычка осталась.

— Спасибо, — сказала я. — Только к ужину не надо. У нас «Палаццо».

Нина Петровна посмотрела на открытку. Потом на меня. И ничего не сказала. Она знала почерк Светланы не хуже меня.

***

Гардиан ждал у лестницы в восемь сорок, как всегда.

Я спускалась медленнее обычного. Нарочно. Серьги качались при каждом шаге, и я поворачивала голову чуть сильнее, чем нужно, чтобы на них падал свет. Я не знала, зачем это делаю. То есть знала: мне хотелось, чтобы хоть кто-нибудь сказал эти два слова вслух. Не в комментариях, не в от-

крытке почерком Светланы. Вслух, ртом, глядя на меня.

Он сказал:

— Доброе утро.

И больше ничего.

Я подождала у последней ступеньки. Он посмотрел на часы.

— У тебя первая пара через двадцать минут.

Ладно. Понятно. Не знает. С какой стати ему знать? Он охранник, а не лучшая подруга. В его папке, наверное, написано про группу крови, аллергии и рост, а не про день рождения.

Или написано, но ему всё равно. Это даже честнее.

Я улыбнулась ему улыбкой номер один, «всё прекрасно», и прошла мимо так близко, что задела его плечом. Он не сдвинулся. Он никогда не сдвигается.

***

К обеду мне написали сто сорок три человека.

Я считала. Это моя профессиональная деформация: я считаю всё. Просмотры, лайки, комментарии, секунды до того, как кто-то отведёт глаза. Сто сорок три поздравления, из которых сто двадцать — одинаковые, с одинаковыми шариками, скопированными из одного и того же набора открыток. Восемь — от людей, которые что-то от меня хотели: рекламу, пиар, пропуск на папину новогоднюю вечеринку. Двенадцать — от людей, которых я не помнила.

Три были настоящими.

От Лики — голосовое на четыре минуты, в котором она пела, сбивалась, смеялась и начинала заново, а в конце сказала серьёзно: «Сонь, я тебя правда люблю, хоть ты и стерва». От мамы — фотография торта с девятнадцатью свечками и подпись «Задуй за меня, солнышко». Торт стоял на столе в квартире, которой я никогда не видела. Свечки не горели.

Третье пришло с незнакомого номера.

«С днём рождения, Сонечка! Это Зоя Ивановна. Вы мне как-то говорили, что скоро день рождения, я записала. Здоровья вам и мужа хорошего. Приезжайте, я пирожков напекла, а то вы худенькая».

Я смотрела на это сообщение и не могла понять, что со мной происходит.

Я говорила ей про день рождения. Мимоходом, три недели назад, когда она спросила, сколько мне лет. Говорила не Соня Белова. Говорила Ева, девочка в джинсах, которая приезжает на автобусе. И Зоя Ивановна, у которой в стене трещина толщиной в палец, у которой пенсия меньше, чем стоят мои серьги, у которой нет ни помощницы, ни ювелирного дома, — записала. На бумажке, наверное. Ручкой.

Она обращалась ко мне «Сонечка». Значит, я где-то проговорилась. Или она сама догадалась. Журналист из меня, конечно, выдающийся.

Я написала: «Спасибо огромное! Обязательно приеду. Как у вас там, всё ещё дует?»

Она ответила через десять минут, медленно и без запя-

тых: «Дует дочка куда ж оно денется. Зато дышится хорошо».

На паре по истории журналистики я не услышала ни слова. Я сидела и думала о том, что человек, у которого дует из стены, умеет поздравлять лучше, чем человек, который эту стену построил.

Я тогда ещё не знала, насколько точно это сформулировала.

***

В семь вечера я была в платье.

Не в синем. В чёрном, коротком, которое папа однажды назвал «слишком взрослым». Я специально выбрала его. Пусть скажет, что слишком взрослое. Пусть хоть что-нибудь скажет.

Серьги. Кольцо. Стрелки, которые я рисовала сорок минут, потому что рука дрожала. Тональный крем поверх веснушек — да, после той сторис я пообещала себе краситься меньше и целых три дня держалась. Но сегодня я хотела быть красивой. Не для подписчиков. Для одного человека, которому было некогда смотреть на меня последние восемь лет.

Гардиан ждал внизу. В том же бомбере, в той же футболке. Он посмотрел на меня, когда я спускалась, и что-то на его лице на секунду изменилось. Как будто ему сначала дали ответ, а потом задали вопрос.

— «Палаццо», — сказала я. — На восемь. Ужин с папой.

— Знаю. Геннадий Петрович сказал.

И снова ничего.

«Палаццо» — это ресторан на крыше бизнес-центра, где стены из стекла, официанты говорят шёпотом, а меню без цен. Папа водил меня туда три раза. Последний был лучшим: мы два часа говорили про книжки и выяснили, что оба любим Довлатова. Я до сих пор не понимаю, как не знала этого раньше.

Нас посадили у окна. Город внизу горел, как рассыпанные угли. Официант зажёг свечу в стеклянном шаре и положил передо мной меню в кожаной папке. Второе меню положил напротив. Перед пустым стулом.

Гардиан сел за барную стойку метрах в десяти. Заказал воду. Бармен посмотрел на него так, как смотрят на человека, пришедшего в оперу в спортивном костюме. Гардиан посмотрел на бармена так, как смотрит он. Бармен быстро нашёл себе дело в другом конце стойки.

Восемь ноль-ноль.

Восемь пятнадцать. Я заказала воду с лимоном. Официант спросил, будем ли мы ждать второго гостя. Я сказала «конечно» — улыбкой номер шесть, «я тут хозяйка».

Восемь тридцать. Я сфотографировала свечу, город, свою руку с кольцом на скатерти. Ни одну фотографию не выложила.

Восемь сорок. Телефон завибрировал.

«Сонь, прости, срочно. Витя, по стройке, горит. Не жди, закажи что хочешь, всё оплачено. Завтра отметим, обещаю.

Папа».

Витя.

В прошлый раз, когда папа ушёл из-за стола, звонил тоже Витя. Я перечитала сообщение три раза, пытаясь найти между строк что-нибудь, кроме «всё оплачено». Не нашла. Всё было оплачено. Столик, свеча, вода с лимоном, вид на город. Всё, кроме пустого стула.

Я положила телефон экраном вниз. Как он. Оказывается, это заразно.

Официант подошёл принять заказ. Я посмотрела в меню и поняла, что не могу прочитать ни одного слова. Буквы были на месте, а смысл куда-то делся.

— Мне ничего, — сказала я. — Спасибо. Можно счёт? Ой. Простите. Всё же оплачено.

Официант был профессионалом. Он не изменился в лице. Он только очень тихо убрал второе меню со стола. Будто его там никогда и не было.

И вот тогда, глядя, как исчезает со стола эта кожаная папка, я почувствовала, что сейчас заплачу. Прямо здесь, на крыше, перед всем городом, в слишком взрослом платье.

Я подняла глаза, чтобы слёзы закатились обратно. Это работает, если смотреть вверх. Проверено.

И наткнулась на его взгляд.

Он не встал, не пошёл ко мне, не сделал ничего из того, что сделал бы герой в кино. Он просто смотрел. И я вдруг поняла, что он смотрел так весь вечер. Не на зал, не на дверь,

не на часы. На меня. Не как охранник на объект. Как человек, который тоже ждал, что откроется дверь, и тоже знал, что она не откроется.

Он чуть наклонил голову. Это могло значить что угодно. Я решила, что это значит «пошли отсюда».

И встала.

***

В лифте мы ехали молча. Сорок два этажа. На двадцатом он сказал:

— Ты сегодня ела?

Я вспомнила. Утром кофе. Днём — сто сорок три поздравления. Вечером — вода с лимоном.

— Нет.

Он кивнул, будто этого и ждал.

У входа он что-то сказал Максу вполголоса. Макс удивлённо поднял брови, хмыкнул и свернул не к нашему району, а к вокзалу.

— Куда мы едем?

— Правило первое, — сказал Гардиан. — Ты всегда в зоне видимости. А куда — правилом не оговорено.

Сил возмущаться у меня не было. Я сняла серьги, потому что они вдруг стали тяжёлыми, и сжала их в кулаке.

Машина остановилась у крошечного ларька, сияющего, как новогодняя ёлка. На вывеске: «ШАУРМА 24. У Рустама». Мелом на доске: «Лучшая в городе!!!» Три восклицательных знака. Как у Нины Петровны.

— Ты шутишь, — сказала я.

Гардиан уже вышел. Через стекло я видела, как он жмёт руку продавцу в белом колпаке, как давнему знакомому. Потом он зашёл в круглосуточный магазинчик рядом и вышел с чем-то маленьким в руке.

— Он сюда после ночных смен ходит, — сказал вдруг Макс, глядя в зеркало. — Я раз видел. Тут склады рядом.

Я не знала, что Макс вообще что-то про Гардиана знает. Но спросить не успела: Гардиан сел рядом со мной, сзади, с двумя шаурмами в фольге и стаканчиком чая.

— Держи.

Шаурма была горячая, тяжёлая и пахла так, что у меня свело желудок.

А потом он сделал странное. Развернул фольгу у моей шаурмы, достал из кармана то, что купил в магазине, и воткнул прямо в лаваш.

Свечка. Тоненькая, витая, розовая. Из тех, что продаются по двадцать штук для детских тортов.

— Зажигалка есть? — спросил он у Макса.

Макс полез в карман, не раздумывая, и протянул через плечо пластиковую зажигалку. Гардиан щёлкнул ей. И на долю секунды посмотрел не на свечку, а на затылок Макса. Внимательно. Так, как смотрел на серую машину у торгового центра.

Я заметила. Я всегда замечаю, как он смотрит. Это стало моей профессиональной деформацией номер два.

Но потом огонёк дрогнул, выпрямился, и я забыла про Макса.

— С днём рождения, — сказал Гардиан.

Вслух. Ртом. Глядя на меня.

Свечка горела криво, роняя розовые капли воска прямо на соус. В машине пахло чесноком и чаем. Я сидела в слишком взрослом платье, с серьгами в кулаке, и держала шаурму со свечкой, как держат хрустальный кубок.

— Ты знал, — сказала я чужим голосом.

— В папке написано.

— И весь день молчал.

— Ты весь день ждала, что скажет он. — Он пожал плечами. — Я не хотел быть первым. Это должен был быть он.

Я засмеялась. Или заплакала. Где-то посередине.

— Папа забыл, — сказала я. — А папка помнит.

Он ничего не ответил. Только чуть подвинул шаурму со свечкой обратно ко мне.

— Загадывай. Сейчас догорит — и не считается.

Я загадала. Не скажу что. Это, кажется, единственное правило, которому я действительно следую.

И задула.

***

Мы ели прямо в машине. Макс деликатно включил радио и сделал вид, что его тут нет. Шаурма оказалась лучшей в городе, Рустам не врал. Соус тёк по пальцам, я ела жадно и некрасиво, кусая лаваш вместе с фольгой. Мне впервые за

много лет было всё равно, как я выгляжу.

— Откуда ты знаешь Рустама? — спросила я с полным ртом.

— Первый курс. До стипендии неделя, денег не было совсем. Я пришёл сюда в три ночи после смены с тридцатью рублями. Он отдал мне шаурму за тридцать. Сказал, остальное — когда разбогатею.

— И ты отдал?

— Через месяц. С процентами. Он не взял проценты. Обиделся.

Я подумала, что во всём городе меня просто так любят два человека — Нина Петровна и Зоя Ивановна. И у обеих есть пирожки. А у него есть Рустам, и у Рустама тоже еда.

Может быть, вся доброта на свете пахнет едой.

— А мама? — спросил он вдруг. — Она тебя поздравила?

И я рассказала.

Не знаю почему. Я никогда никому не рассказывала. Лике — нет: Лика придумала бы из этого трагедию на три серии. Психологу, к которому папа отправил меня в четырнадцать, — тоже нет: ему платил папа. А тут, в машине, пахнущей чесноком, с наполовину съеденной шаурмой в руке, — рассказала.

Про ванильные блины. Про первый блин, который ел папа. Про то, как однажды утром мама просто не вышла к завтраку, а на столе лежала записка, и папа читал её очень долго, а потом сложил вчетверо и убрал в карман, и я так и не

узнала, что там было. Про торт с незажжёнными свечками на фотографии. Про то, что мама пишет раз в месяц, и я знаю, что у неё стоит напоминание, и всё равно жду этого напоминания, как дура. Сегодня она написала: «Задуй за меня, солнышко».

Он слушал. Не перебивал, не говорил «понимаю» и «всё будет хорошо». С ним было как с тёмной комнатой: можно говорить что угодно, и стены не покраснеют.

Когда я закончила, он долго молчал. А потом сказал:

— Мой ушёл за сигаретами. Мне было девять.

— И не вернулся?

— Вернулся. Через три года. Попросил у мамы денег. — Он смотрел в окно, на сияющий ларёк. — Мама дала. А я его вывел. Мне было двенадцать, и он был выше меня в два раза. Но я его вывел. И сказал, что если он ещё раз придёт, я его побью.

— Он пришёл?

— Нет. — Он помолчал. — Иногда я думаю, что лучше бы пришёл. Тогда я бы знал, что смог бы.

Я смотрела на его профиль в синем свете приборной панели. На шрам над бровью, которого раньше не замечала. На руку, всё ещё сжимающую зажигалку. И впервые думала не о том, что он охранник, что ему платят, что у нас война. Я думала о двенадцатилетнем мальчике, который выводит из дома взрослого мужчину. И о том, как ему, наверное, было страшно. И о том, что никто этого не видел.

Так не смотрят на того, с кем воюют. Я это понимала. Просто не могла остановиться.

— Гардиан.

— Мм?

— Можно я задам вопрос, а ты ответишь честно?

Он повернулся ко мне осторожно, как поворачиваются к опасному.

— Смотря какой.

— Третье правило. Какое оно?

Он чуть улыбнулся. Самым краешком губ. Я видела эту улыбку впервые и подумала, что, будь у меня такая, я бы не стала тратить её на подписчиков.

— Нечестно, — сказал он. — Это два вопроса.

— Это один!

— «Можно я задам вопрос» — тоже вопрос.

И я засмеялась так, что чуть не уронила шаурму. А Макс сделал радио погромче.

***

Дома было темно и тихо. Папиной машины во дворе не было. Нина Петровна оставила на кухне под полотенцем пирог с капустой, с вырезанным на корочке сердечком. И записку: «Это всё равно твой. Н. П.».

Я отрезала кусочек, хотя была сыта, и съела его стоя, прямо с противня, обжигая пальцы. Как папа когда-то.

Самый вкусный.

У себя в комнате я достала из сумки огарок свечки. За-

брала его из шаурмы, пока он не видел. Кривой, наполовину оплавленный, со следом соуса на боку. Я положила его в шкатулку, где лежат все мои настоящие драгоценности: мамина заколка, папин рисунок на салфетке, билет на концерт, на который мы ходили втроём, когда мне было шесть.

Серьги я убрала в белую матовую коробку и поставила на полку.

Потом открыла заметки. Там были строчки с начала месяца: «Дочь не вмешивай. Слышишь, Витя?» и «добрые люди». Я добавила:

«Витя. Опять. Горит стройка — какая?»

И, подумав, ещё одну:

«Макс — зажигалка. Почему К. так на него посмотрел?»

Я записываю всё, что не понимаю. Так я жила последние восемь лет: записывала, потому что спросить было не у кого.

Перед сном телефон завибрировал. Номер, который я так и не подписала. Боялась, что, если подпишу, это будет что-то значить.

«Спишь?»

Он никогда не писал первым. Одно слово «вижу» в клубе — и всё.

«Нет», — написала я.

Три точки появились. Исчезли. Появились снова. Я не дышала, как будто от моего дыхания зависело, что он напишет.

«Задуть за маму тоже засчитывается. Я спрашивал у Рустама. Он эксперт».

Я смеялась в подушку, чтобы никто не услышал. Хотя слышать в этом доме было некому.

А потом всё-таки подписала номер. «Гардиан».

Потом стёрла. И написала его настоящее имя. То, которым его здесь никто не называл.

«Кирилл».

И это действительно что-то значило.

Глава 9. Кирилл

Свечку для шаурмы я купил в круглосуточном магазинчике рядом с Рустамом. По одной там не продавали, только пачкой по двадцать штук. Девятнадцать до сих пор лежат у меня в кармане бомбера. Мне и одна казалась наглостью.

Когда я воткнул эту свечку прямо в её шаурму, она сначала не поняла. Посмотрела на меня, на свечку, снова на меня. А потом засмеялась. Не так, как смеётся в своих роликах, на камеру, а некрасиво, со всхлипом, прикрыв рот ладонью. Салфетки остались у Рустама.

Про маму она рассказывала, глядя в недоеденную шаурму. Про ванильные блины. Про записку на столе, которую отец долго читал, а потом сложил вчетверо и убрал в карман. Я слушал и думал, что у нас с ней, оказывается, одинаковые истории. Только мой ушёл за сигаретами, а её мама — с запиской. И неизвестно, что хуже. Мой хотя бы не оставил записки, которую потом всю жизнь хочется прочитать.

А ещё до мамы, когда нужно было зажечь свечку, Макс протянул мне через плечо зажигалку. Я щёлкнул ей и посмотрел на его затылок. Наверное, слишком долго, потому что Соня проследила мой взгляд.

Огарок свечки она забрала из шаурмы и спрятала в сумку. Думала, я не видел.

Я видел. Я всё видел в тот вечер. И, похоже, это было моей

главной проблемой.

***

Петрович говорит, что самый опасный удар — тот, который прилетает, когда ты уже решил, что раунд кончился.

Я слышал это тысячу раз. И всё равно в тот день решил, что раунд кончился.

Не сразу. Утром я ещё был настороже. Утром я думал про зажигалку.

Дешёвая, синяя, с протёртым до белизны колёсиком. Такие зажигалки не возят на всякий случай. Их возят, потому что курят. Каждый день, по несколько раз. А Макс на прошлой неделе сказал мне, что бросил три года назад, и даже похвастался, что теперь пробегает по утрам пять километров.

А может, он держит её для других. Может, он врал про пробежки. Люди врут про пробежки чаще, чем про что бы то ни было. Я сам однажды сказал Петровичу, что бегал десять, а бегал семь.

Я перебирал эти варианты всю дорогу до универа, глядя в затылок Максу. Затылок был обычный. Стрижка обычная. Он напевал что-то под радио и пропускал пешеходов с такой любезностью, будто сдавал экзамен в автошколе.

А рядом со мной, сзади, сидела Соня.

Сзади — потому что утром, когда я по привычке взялся за ручку передней двери, она сказала: «Садись со мной». И тут же, без паузы: «В смысле, сзади безопаснее. Я читала».

Я не стал спорить. Я вообще последние дни спорил с ней всё меньше, и это меня беспокоило больше зажигалки.

Она была без стрелок. То есть со стрелками, но тонкими, почти незаметными. И на носу были видны веснушки. Не все — штук десять, на самом кончике. Я посчитал, пока мы стояли на светофоре. Десять. Одиннадцать, если считать ту, что у крыла носа.

Потом я понял, что считаю веснушки вместо того, чтобы смотреть на дорогу, и отвернулся к окну.

Вот в этот момент, наверное, раунд и кончился. Только не для них. Для меня.

***

День был спокойный. Слишком спокойный, сказал бы Петрович, но Петровича рядом не было.

Серой машины ни у факультета, ни у столовой, ни у библиотеки. Геннадий Петрович в обед прислал мне одно слово: «Угон». Я сначала не понял. Потом понял: он всё-таки пробил машину по моим фотографиям. Машина была в угоне. Уже месяц.

За машиной, угнанной месяц назад, не катаются по торговым центрам ради развлечения. Это понимал даже я. Поэтому вторая строчка от Геннадия Петровича была длиннее: «С неё глаз не спускай. Вечером разберёмся».

И никакого «студента».

Я и не спускал. На паре по медиааналитике я сидел не на последнем ряду, а на третьем. Прямо за ней. Соня оберну-

лась, увидела меня, и на её лице мелькнуло что-то такое, что мне стало жарко в бомбере. Она ничего не сказала. Только подвинула свой конспект так, чтобы я не видел, что там написано.

Я всё равно видел. Там были не сердечки. Там были схемы. Стрелки, квадратики, адреса. Одно слово было дважды обведено кружком. Я разобрал только первую букву. «А».

Я не стал спрашивать. У каждого свои карманы.

***

Последняя пара закончилась в пять сорок. В конце октября в пять сорок уже почти темно. Фонари на парковке журфака зажигаются по очереди, как будто нехотя, и третий от въезда не зажигается вообще. Я это запомнил ещё на первой неделе. Углы ринга.

Макс написал, что застрял в пробке на мосту и будет через двадцать минут. Второй раз за неделю. Я ответил: «Ждём внутри».

— Я выйду его встречу, — сказала Соня. — Чтобы не искать потом, где он встал.

— Вместе.

— Это быстро, Гардиан.

— Вместе.

Она закатила глаза, но спорить не стала. Она вообще после дня рождения спорила со мной только для вида, как спарринг-партнёр, который бьёт вполсилы.

Мы вышли. И через десять шагов от дверей факультета к

нам вылетела Лика.

— Сонь! СОНЯ! Стой! Ты что, серьёзно отказалась идти в субботу? Там же Арина новую вечеринку…

Она неслась к нам на каблуках, раскинув руки, с телефоном в одной руке и кофе в другой. Я обернулся на неё. На секунду. На одну-единственную секунду, потому что человек, бегущий к тебе сзади, — это то, на что оборачиваются. Рефлекс.

А Соня не обернулась. Она просто махнула Лике рукой через плечо, как делают люди, у которых бесконечно много друзей, и пошла дальше. К парковке. Под третий фонарь, который не горел.

И в эту секунду я услышал мотор.

***

Серая машина выкатилась из темноты между рядами без фар. Тихо, как рыба в мутной воде. Не быстро. Быстро было бы глупо: на быструю машину оборачиваются. Она ехала скоростью человека, который ищет место для парковки.

Она искала не место.

Между мной и Соней было шагов десять. Между Соней и машиной — три. Боковая дверь начала отъезжать в сторону ещё на ходу. Из темноты салона показалась рука в чёрной перчатке.

А Соня шла и смотрела в телефон. Она сделала бы ещё один шаг — и оказалась бы ровно напротив открытой двери.

У меня не было времени добежать. У меня было времени

ровно на одно слово.

— СТОП!

Я не знал, что умею так кричать. Петрович потом скажет, что так кричат только раз в жизни, и лучше бы этот раз не наступал.

И Соня остановилась.

Не обернулась, не спросила «что?», не сказала «а пожалуйста?» Просто замерла на полушаге, как в игре «морская фигура, замри». Рука в перчатке схватила воздух в том месте, где через секунду должно было быть её плечо.

Одна секунда. Этого хватило.

Я не помню, как пробежал десять шагов. Помню, что уже стою между ней и открытой дверью, а её одной рукой отодвигаю назад, за спину, так же, как у клуба. Стойка.

Из машины выпрыгнули двое. Тёмные куртки, капюшоны, нижняя половина лица закрыта чёрной маской, как в пандемию. Первый был ниже меня и шире. Второй выше и с чем-то длинным в руке. Третий остался за рулём.

Широкий пошёл первым. Хотел обойти меня слева, к Соне. Так двигаются люди, которые привыкли толкаться, а не драться: грудью вперёд, руки низко. Я сделал шаг ему навстречу и ударил один раз. Коротко, в корпус, как Бульдогу. Только не жалея.

Он сложился пополам и осел на асфальт. С таким звуком, с каким садится в кресло человек, который очень устал.

Высокий был умнее. Он не пошёл на меня. Он замахнулся.

В руке у него была дубинка, или кусок трубы, или что-то ещё. Я так и не разглядел. Успел только подставить левую руку.

Удар пришёлся на предплечье. Боль была белая, яркая, она вспыхнула от локтя до плеча и дальше, до зубов. Но рука была цела. Петрович десять лет учил меня принимать удары так, чтобы рука оставалась целой. Я никогда не думал, что это пригодится не на ринге.

Правой я ударил его в челюсть. Через маску, через капюшон. Он отшатнулся, ударился спиной о свою же машину и выронил дубинку. Она покатилась под колёса с деревянным стуком, как бита по столу.

— Валим! — заорал тот, что за рулём. Голос был обычный. Низкий, прокуренный. Я запомнил его. Я его запомнил навсегда.

Широкий ползком забрался в салон. Высокий прыгнул следом. Дверь ещё не закрылась, а машина уже сорвалась с места, визжа шинами, проехала по дубинке, снесла зеркало у чьей-то розовой маленькой машины и исчезла за воротами. Номера были заклеены. Конечно.

Всё заняло секунд пятнадцать. На ринге за пятнадцать секунд ничего не успевает случиться. А тут случилось всё.

***

Первое, что я услышал после, — крик Лики. Она кричала на одной ноте, с кофе в руке, и кофе лился ей на каблуки. Потом из дверей факультета посыпались люди, и у половины в руках уже были телефоны. Привычка. Журфак.

А потом я почувствовал два пальца на рукаве.

На правом. На целом.

Я обернулся. Соня стояла за моей спиной там, куда я её поставил. На том же месте, до сантиметра. Она не кричала и не плакала. Она была белая — по-настоящему белая, так, что веснушки на носу стали похожи на перец на снегу. Телефон у неё в руке светился. На экране была открыта наша переписка.

И вторая рука держала мой рукав. Двумя пальцами. Как у клуба.

— Ты цела? — спросил я.

Она кивнула. Потом посмотрела на мою левую руку, которую я держал чуть на отлёте, и перестала кивать.

— А ты?

— Нормально.

— У тебя губа.

Я провёл языком. Солёное. Видимо, когда бил высокого, он успел задеть меня локтем. Я даже не заметил.

— Бывает, — сказал я.

И вот тут у меня начали дрожать руки.

Не от драки. После драки руки у меня не дрожат с четырнадцати лет. Они дрожали, потому что я представил себе, как бы это было, если бы она не остановилась. Если бы она сказала «а пожалуйста?» Если бы ей захотелось ещё раз проверить, работает ли правило.

Я сжал кулаки. Не помогло.

***

Геннадий Петрович приехал через двенадцать минут. Макс — через четырнадцать. Пробка на мосту рассосалась удивительно быстро.

Макс выскочил из машины белый, как Соня. Белее Сони.

— Софья Андреевна! Вы как? Господи… Я на мосту, там авария, я не мог… — Он осёкся и посмотрел на меня. — Ты видел их?

— Видел.

— И что?

— Уехали.

Он кивнул слишком быстро. И слишком долго не переставал кивать. В кармане у него вибрировал телефон. Он сунул туда руку и, не доставая, нажал что-то. Телефон затих. Через минуту завибрировал снова. Он снова сбросил.

Я ничего не сказал. У новичков на вторую неделю всегда паранойя. Но на третью неделю паранойя называется по-другому.

Геннадий Петрович долго стоял у розовой машины со сбитым зеркалом. Потом нагнулся, достал из-под соседней машины обломок дубинки, покрутил его в руках и подошёл ко мне.

— Рука.

Я показал. Он взял меня за запястье и несколько раз надавил на предплечье большим пальцем, глядя мне в лицо. Я не моргнул. Десять лет тренировок.

— Ушиб. Не перелом. — Он отпустил мою руку. Обломок дубинки он обернул платком и убрал во внутренний карман пальто. Аккуратно, как убирают ключи от чужой квартиры.

— Это в полицию? — спросил я.

— Это моя работа, студент. Твоя работа — она. — Он кивнул на Соню. — С полицией говорю я. С журналистами говорю я. Ты ни с кем не говоришь. Ни с кем. Понял?

— Он опоздал, — сказал я тихо. — Макс. Второй раз за неделю. И камера над входом…

Геннадий Петрович посмотрел на меня так, как в первый день. Как на молоко с истекающим сроком.

— Камера над входом третий день не работает, — сказал он. — А Макса я знаю несколько лет. Тебя — три недели. Не лезь, куда не просят.

Он развернулся и пошёл к своей машине звонить кому-то. А я стоял и думал о двух вещах. Откуда он знает, что камера на чужой парковке не работает именно третий день? И почему единственную вещь, которую оставили эти люди, он не отдал никому, а унёс в кармане?

Петрович говорит: когда не понимаешь, откуда прилетит, держи обе руки у лица. У меня сейчас была только одна рука. И два человека, на которых я боялся посмотреть.

***

Белов приехал сам. Без водителя, за рулём большой чёрной машины, которую припарковал наискосок, заняв три места. Он вышел, не заглушив мотор, и пошёл к нам быстро,

почти бегом, в расстёгнутом пальто. Я ни разу не видел, чтобы он бегал.

Соня увидела его и выпустила мой рукав.

Я почувствовал это так же отчётливо, как удар дубинкой. Только больнее.

Белов обнял дочь. Неловко, слишком крепко, так, что её голова оказалась у него под подбородком, а руки прижаты к телу. Так обнимают люди, которые давно этого не делали. Мой отец так обнял меня в тот день, когда вернулся за деньгами.

Соня стояла в этих объятиях с опущенными руками. И смотрела на меня через его плечо.

Потом Белов отпустил её и повернулся ко мне. У него было серое лицо, серое, как та машина. Он посмотрел на мою губу. На руку. И протянул мне свою.

Я пожал её. Правой. Левая уже начинала отекать.

— Спасибо, — сказал он. И помолчал. — Я заплачу за лечение. И премию…

— Не надо премию.

Он посмотрел на меня так, как смотрел тогда, на складе. Приценяваясь. Только теперь он, кажется, не мог решить, сколько я стою.

А потом у него зазвонил телефон. Он посмотрел на экран, и лицо у него стало таким, как у моего соперника на области два года назад, когда ему сказали счёт перед третьим раундом. Он сбросил звонок.

На экране успело мелькнуть имя. Четыре буквы. «Витя».

Соня тоже успела. Я видел, как она успела.

***

Домой Соню отвёз Геннадий Петрович. Не Макс. Максу сказали отогнать в гараж ту машину, в которой мы приехали утром, — и он согласился сразу и с облегчением.

Лику отправили на такси — она к тому моменту уже кричала в телефон маме, а не в пустоту.

А меня Белов посадил в свою машину и сам отвёз в травмпункт. Мы ехали молча. На одном из светофоров он сказал, не оборачиваясь:

— Я думал, если нанять тебя, этого хватит. Чтобы они увидели, что она под охраной, и отстали.

«Они». Не «кто-то», не «неизвестные». «Они».

Я ничего не спросил. Петрович говорит, что иногда лучший способ узнать о сопернике — не бить, а смотреть. Я смотрел на руки Белова на руле. Они были сжаты так, что костяшки стали белыми.

Рентген показал трещину в лучевой кости. Маленькую, как волос. Три недели без перчаток. Без левой руки. Область через месяц. Повязку снимут за неделю до неё. Неделя, чтобы вспомнить, как бить левой.

Петрович меня убьёт.

***

В общагу я вернулся в час ночи, с рукой на перевязи. Тёма не спал. Он сидел на кровати с телефоном, и на экране

было видео. Качающаяся картинка, тёмная парковка, фигура в бомбере.

— Гром, — сказал он. Без шуток. Совсем без шуток, впервые за два года нашего знакомства. — Это что было?

Я лёг, не раздеваясь.

— Работа, — сказал я.

Тёма долго молчал. Потом выключил видео, подошёл и положил мне на тумбочку таблетку обезболивающего и стакан воды. Сам. Без комментариев. Тёма, который никогда в жизни ничего не делал без комментариев.

Телефон завибрировал в два ночи. Буква «С».

«Ты сказал стоп. Я остановилась».

Я смотрел на эти слова долго. Потом написал одним пальцем, правой рукой:

«Знаю».

Три точки. Очень долго.

«Я первый раз тебя послушалась».

И потом, через минуту:

«Мне больше не смешно».

Я понял, про что она. Про эскалатор. Про пакеты, мужчину с лыжами, «пожалуйста». Про всю нашу войну с окнами и нянечками. Игра закончилась. Вот так. В пять сорок, под негорящим фонарём.

«Мне тоже», — написал я.

И ещё одно, потому что в два ночи пальцы иногда быстрее головы:

«Спи. Я рядом».

Рядом я не был. Между нами было двадцать километров, два забора, пять камер и весь спящий город. Но она ответила не спором. Одним словом:

«Знаю».

А третье правило в ту ночь я себе даже не повторял. Бессмысленно повторять правило, которое уже нарушил.

Γ

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.